

Перед вторыми петухами Андрюха Шастин вышел на крыльцо проветриться. Вздрогнув, он потянулся так, что кости затрещали.

– Синёшенько, почти утро, – в сладком зеве пропел он.

Поддёрнув кальсоны, постоял послушал, как хлопает под крылечной половицей. Дождя уже не было. Отзаривало, но дальним мороком затянуло весь белый свет. Ему с детства мерещилось какое-то эхо в тумане. Теперь он этого не слышит. Мокрый штaketник отсвечивал серебряшками. Мелькнула мысль: «Надо заострить концы, а то погниют». На берегу в мороке плавают сосны, комлей не видно, лишь макухи в зыбкой дымке да стволы, съеденные таинственной белесью. Любил Андрюха такую погоду: можно подольше потянуться в постели, неспешно позавтракать блинами, кол в домашнюю изгородь вбить. Хотя какой теперь кол...

Защемило сердце – скоро его деревни не станет. Вольются они в колхоз «Вперёд», бывший им. Молотова. Вдруг сердце ёкнуло: с чего Грушка ночью больно ласкова была, как в первый год после свадьбы?.. Не в сельпо ли чего забросили? Но по такой грязюке и на коне не пролезешь. Да и открывают сельповскую лавку теперь от случая к случаю. Вспомнил, как вчера

свой трактор по самую кабину в зыбун за речкой устроил. Об этом душа не шибко шевельнулась: кто виноват – дорог нет.

Принародно Андрюха с матерками не высказывал, но тут душа запросила облегчения, а волкодав Жулик выполз из-под крыльца, скульнул и стал дирижировать хвостом: обрадовался голосу хозяина, вытянулся мостом и сладко застонал.

– Дуй, Жулик, досыпай своё – рано.

Андрюха было занёс над порогом ногу, как вдруг совершенно жутко разнеслось:

– Ой! Ой-ёй-ёй!!! Ой-ёй-ёченьки! Залез проклятый, ой, стрелят! Стре-ой-лят!!!

А Андрюхе что, либо упасть, либо прикипеть к косяку – от неожиданности.

По улице в длинной рубахе «белестела» старуха Ошлѐпчиха. От своего домишка она пронеслась мимо шастинского дома, заскочила на крылечную приступку бывшего сельсовета, но не задержалась.

Жулик смешно ударил лапами оземь, по сторонам полетела жижа. Мгновение смотрел на хозяина и, словно вспомнив, что он пёс, заскочил на свинарник, перемахнул заплот и – за старухой.

– Караул!!! – откуда силушка взялась, завопила Ошлѐпчиха.

– Жулик, куда ты, стой! – потребовал Андрюха. – Жулик!!!

Тот опешил, тормознул хвостом и встал как вкопанный.

Грушка, баба Андрияна, – голову в окно: «Она опупела?!»

– Чёрт-те что орёт, кто-то забрался, изнахратить захотел.

– Тьфу, дурак! Одно на уме. Хватай ружьё, беги к дому!

Андрияха: дождевик, «кирзухи» армейские, дробовку – и туда. Дом Ошлѣпчихи с краю – поперечный. Улица в него и упирается, а взять во внимание ограду с огородом, он словно объехать раскинул, глаза двумя окошками с белыми облупившимися ставнями, – улицу сторожит. По левую от него руку съезд к речному яру, а по правую к шастинскому заулку и огороду – дорога в лесную падушку. Веселенький домишко, у калитки – лавочка, отшлифованная бабьими задами, старушки там собираются сплетни помолоть, улицу покараулить. Агафья Ошлѣпкина в этом домике одна живёт. Сын с фронта пришёл, да вроде бы за угольками – на мало: заскочил – выскочил. Выяснилось – дважды к немцам в плен попадал и оба раза бежал. За что и угодил на Колыму: за плен. И ни слуху ни духу...

Хлопали ставни; где-то прогремело ведро; драницу с шумом, видать, с сарая сбросило; заливались собаки; мычали бедные коровѣнки, горланил петух. Мужики с палками, с ружьями – к дому, а бабы налегке – за Ошлѣпчихой к речке.

Иван Пылѣв кричит Андрияхе Шастину: «С тылу, с яру заходи, сосед, к речке не упусти!»

Дом Ошлѣпчихи – глазом моргнуть, как был оцеплен. Отдыхиваясь, пораскрыв рты, протирая сонные глаза, караульные вслушивались в тишину – относительную: влажный ветер надрывно завывал, разгоняя ненастье. Густой и гулкий, пролетая над селом, он задыхался в лесных околотках. Эту заунывную песнь природы изредка нарушала собака-тявкуша – где-то на краю села.

– Это Гани Головѣшкина пустолайка – Роска. Вся в его тѣщу, – рассудил Оська Таратайкин, забияка-переросток, дезертир из ФЗУ. Удрал из училища из-за молока: любит парное, а там не дают.

– Гы-гы-гы, братцы, теперь я знаю, пошто беляков так называли: они всегда в подштаниках воевали. Сѣдни мы, получается, белые, а он там – красный... от испугу.

– Закуси ты портянкой, – встрял Савка Сухарев, – смотри, подштаники бы твои не пожелте-

ли. Петуха деревне пустит, узнаешь, не с тюри ли брюхо у девок растёт.

– К чему этот твой юмор из сортира?

– Обождите, остряки! – ударил себя по бедру Андрияха, решив проявить парламентёрство. – Эй, ты! Кто ты там, сукина собака? Выкуривайся подобру, а то ноздрю на кулак натянем!

– А-а, чего там! – распетушился Оська, в его руке – тяжёлая стальная бабка для отбивки литовок. – Я его щас выкурю!!!

– Ку-уда?! – Андрияха цап его за рубаху. – Слышал, вооружён? Ёлки-палки! Выпялились, как сычи на колу вертимся. Хватанёт и... ложись. Ложи-и-ись! – Так невзначай Андрияха Шастин взял командование на себя.

На сырой земле удобств – кот наплакал. Верно, почва уже грибовала. За огородами на зѣм тёплый – преет, пахнет шампиньонами и, на Оськин вкус, парным молоком. А на яру за палисадником – ещё и полынкой и лебедой. Кто-то вскрикнул – шмякнулся в крапиву, все навострились: что там?

– Тюкнули кого-то. – Оська уставился на Андрияху. – Видать, кто-то на стрѣме был. – Пальцем снизу лихо ткнул кендырь кепчонки.

Его соломообразная чѣлка поплыла по волнистому лбу.

– Чего ты стрижѣшь ушами своими? Сползайка лучше, Осип, узнай, что там, – распорядился Андрияха. – Передать по цепи, пусть кусты с торца в полусадики обшарят. Осторожно. И ружьями не шалить зря.

Подползло несколько парней:

– Как мерѣкаешь, Андрияха, кто забрался к старой?

– А я-то почѣм знаю!

– Шатун какой-то, – подал голос незаметно подползший деревенский дока Семѣн Гузеев, – натакался, что одна живёт. А вот чего надо...

– А, Семѣн! Здорово. Как живѣшь? – подал руку Андрияха.

– Плохо, паря, мухи кусают, – исхудавший, как костыль, Гузеев сел, сложился раскладушкой, плечи – на колени, – веснусь у Ошлѣпчихи Гани Головѣшкина совмесник обивался, после которого у Лильки Ганихи приключилась лихорадка в левой пятке, распаленье хитрости... Вот ведь бабы!.. Похварывала, постанывала – Ганю отпихнула, пока тот на прицеп её и – за хребет... И чѣ в ней такого, в этой Лильке?

– У ей всё в наличии. У Лильки-то, – заправляя кальсоны в носки, затвердил Савка Сухарев.

– Да всего ничего: худа, как сковородник.

– Худа-то худа, да тут хоть куда и тут хоть куда, – Савка похлопал себя. – Лилька баба с узыминкой.

– Да самая настоящая бл.... А тот, видать, добрее её. Уж если такой бабу спёр, так что-то надыбал у старой такое, что и в голову ни влезет, – повысил Гузеев голос.

– Чё у неё есть... Сберкнига, что ли? – чиркнув спичку прикурить, спросил Гошка Овечкин.

В носы приятно хлестанул запах спички.

– Мокруши у неё, а не гроши. – Федька Сухарев, Савкин брат, тоже свернул козью ножку, сунул в рот. Верхнего и нижнего зубов у Федьки не хватает. – Братва бухтела, мол, ш мотоцикла камень я на прочность пробовал, а я бухтю: «В рай-оне пряник купил и шломал им по дороге». Ну шломал, а кому какое дело? Дай-ка огоньку, Гоха. Куда штаруха-то увалила? – прикурив, прошепелявил Федька.

– За речку вон за Чипчигойку подалась к Варухе, – сообщил дока.

– С невесткой она вроде на рогах, – сказал подошедший Иван Пылёв. Он сел, медведисто повернулся, сорвал травинку, сунул в рот. – Послать бы кого за ней. – Подтянул длинные голышки юфтевых ичигов.

– Баба моя побежала, – голос Савки Сухарева.

– Твоей Настасье токо рахитиков да брюхатых баб из бани парных на быках возить: с комнибудь уж по дороге заболталась. Они ить, пока яичко из-под курицы несут до печки, с соседкой словцом-другим перекинулись, а в руках уж цыплёнок. – Гузеев сделал ноги калачиком. – Слушай! Я кумекаю, у Ошлѣпчихи что-то от старого режиму... А?... Она ить к нам в Чипчигой с прииску...

Кое-кого своим любомудрием Гузеев оглушил, а возвратившегося с задания Оську – нет.

– Сека докумекался! Глянь, в чём ходит эта краля, – парень ударил большим пальцем в козырёк кепки, которая всё время сползала на брови, – визитка-то на ней – старик ещё в НЭПе покупал за два куля семенной пшеницы. И до самой войны рассказывал, как он её выторговал у китайца.

– Но, – подтвердил Федька, – до шамой войны.

– А телогрюха только на пугало и годится. А спит, грят, ту же визитку под голову да той же телогрюхой сверху.

– Додуло поддувало, – в пику сыронизировал Гузеев, – ты вона в книжках про бдительность почитай: такие от людей скрывают про свой достаток, и все скупердяи – у которых куры не клюют.

– И петухи тоже, – обхохотал свою остроту Федька.

– А ведь дело толкует Семён, – поддакнул один мужик.

– Как не дело – дело. – Семён распрямил ноги. – Мог родич какой про этот клад пронюхать: в роду-то, небось, и лихие люди были. За кордон-то и сенцо косить ездили, а границу затворили – вот те и не наш, кто там остался. Таким-то не прощают. Он и попроведал Агафью... – Гузеев замолчал. – Ты глянь, как тихо стало: ветер ушомкался. А знаешь, как дождь прежде называли?... Плювия. Ага, плювия. Вот небо и плюет на нас, чтоб быстрее уваливали отцеда. – Семён почему-то задумался, его сиротливо-рассеянный взгляд отправился в никуда. Потом он поглядел в небо. Наблюдательный мог в его лице прочесть сладостный страх. Никто этого не оценил, но каждый почувствовал что-то странное. Семён отбросил для упора руки назад и повернул голову к старому тополю. Плачет тополь. Почему плачет тополь после дождя?... Жалеет. О чём?... Больно ему или сладко? Он всю свою жизнь на одном месте, а место это красивое... Семёну представилась картина кочевья, которая взволновала его. И проблемы Ошлѣпчихино дома провалились в тартарары. Не веря своим догадкам, он как-то машинально продолжил: – Как пить дать, родственничек заглянул, с однова и клад обнять, пощупать, расцеловать.

И пошло по цепи: клад, золото, богатства. Слух вёрткой змеей полз по земле, по росистой траве: «Слыхали, четверть клада тому, кто нашёл?» – «Сундучина-то какой стоит!» – «Сундук для отводу глаз – клад в подполье. Нарочного бы послать к старухе».

Снова пал ветер, зашумел лес. Утренняя прохлада.

2

На берегу, заплетая руки «коральками» – так теплее, перекрывая надрывный рёв речушки, судачила дюжина баб. Речушка, почти скрывшая крутояр, чесала зелёные берега, зализывала стволы берёз. В волнах куролесили ветка, листва, щепка. Медовый вал перекачивался через топляк-бревно, что комлем зацепилось за вымытое корневище сосны, а верхушкой – за шаткий

мосток, обречённый на снос. Зовя на помощь, мосток жалобно поскрипывал.

– Где бабка Ошлѣпчиха? – опешили запалённые Васька Пылѣв и Тайка Таратайкина, Оськина сестрѣнка.

Прядь палевых волос зацепилась за её широкий нос цвета перепелиных яиц, любимое место веснушек. Сквозь лепѣшки веснушек едва просматривалась бледная кожа. Девочка, выставив нижнюю губѣнку, старалась сдуть волосы. Они цеплялись за её бесцветные ресницы. Тайка мотала головой, но упорно не вынимала рук из мужского пиджака, что сидел на ней, как свободное пальто.

– У Варухи, небось. – Настасья Сухарева, утопая в собственном мягком теле, в плечах и грудях, как бы стараясь удержать своё тепло, крепко стискивала себя руками. – А может, в русалку оборотилась да и – вдоль по речке. – У Настасьи привычка летать взглядом по окрестностям, по небу, по собеседникам.

Сгорбившийся серый домишко Варвары Ошлѣпкиной стоял за речкой, на отшибе, а теперь, когда настил моста снесло и быки вот-вот сорвѣт, – совсем на отбиве.

– Ни-ичѣ себе!.. Как она туда перебралась-то?! – разинула рот Тайка.

– Вы чѣ, без Ошлѣпчихи затосковали? – та же Сухариха, шлѣпнув ладошкой свою жирную ногу.

– Нет. Мужики спрашивают, где у Агафьи хранятся эти... как их... – Васька очень спешил сказать, – ну, эти... – посмотрел на Тайку.

– Серѣжки, манейки тама, колечки, – вставила девочка.

– Оне чѣ, уже наряжать её собираются? – полетела взглядом по небу Сухариха.

– Пошто наряжать – вор-то ночью за ними залез.

– Но, а каво, девы, даве я вам говорела!.. А вы: «Пороз-мужик обзарился на неё, толстомясую», – повеселела одна.

– Теперь туда только вплавь, – озаботилась Груша Шастина.

Васька завыхвлялся перед женщинами: «Щас», и пятки засверкали – домой.

– Ишь как пыхнул Ваньки Пылѣва огонѣк. Та-акой же хвастун. – Сухариха вздрогнула. – Бабы, закурить никто не прихватил?.. И я... Вон уже пылит обратно оголец Пылѣв с верѣвкой.

Считая: «Раз, два-с, три-с...», с восьмого раза набросил Васька петлю на выступающий

брус моста. Другой конец верѣвки крепко примотал к стволу берѣзы. Смахнув с себя рубаху и штаны, подбадриваемый женщинами, кинулся всклязь по ней. Васька был отчаюга, ничего, кроме грома, не боялся. Оставалось одолеть самую малость – верѣвочная петля заскользила по бревенчатой слизи, и он бултыхнулся в кипень. «Держи-ись!!!» – разом крикнули бабы. Сорванца, как в одеяло, завернуло в пенную волну и крутануло к берегу. Бросились к нему. Зябко клацая зубами, он через топлѣный осокорь выбрался на берег. Бабы отступили, он спохватился – стоит в чѣм мать родила. Хлѣсткие волны сдѣрнули с него трусишки. Васька оберучь схватил себя посереѣдке, присел: «Отвернитесь!!!».

Женщины, улыбнувшись, отвернулись, а Тайка – ничего не понять – удивлѣнно смотрела на Васькины руки.

– Тебя не касаемо?! – крикнул мальчишка.

– Отворотись, господи! – взяла за руку её сестрѣница. – Выпучилась. Поддай вон штаны.

– Женилку-то не отморозил? – улыбаясь, Груша подала штаны.

– Червячок-то целый? Харьюз, дак он – цап и отхватит, – засмеялась Настасья.

– Будет тебе, дева, – остановила её старушка, – робѣнок.

– У них уши-то золотом завешаны? Они и не то слышали.

Вторая попытка удалась. Как лягуша мокрый, тормошил Васька бабку Ошлѣпчиху. Та, лёжа ничком на топчане, дрыгала ногами, высоко подбрасывала зад и подвывала. Топчан мелодично выскрипывал бабкиным страданиям. Ему размеренно подпевала пискучая зыбка, видневшаяся из-за приоткрытой занавески. Наваясь на очеп зыбки, вывалив белую грудищу, Варвара кормила одного из двойняшек, нажитых без мужа. Второй ребѣнок спал в плетѣной качалке. Мать успевала зыбать и его, смачно, со звонким щѣлканьем жевала серу, читала огрызок газеты, повернув его к лампе, коптившей под потолком. Ей – хоть второй потоп. В таких случаях слова за сто рублей не скажет.

Васька, переступая из лужи, образованной водой, стѣкшей с его тела, на сухо:

– Бабка Агафья, мужики велели пытать, где у те спрятаны кольца, манейки, серѣжки и всё такое. Ворюга, который в твоѣм дому сидит, может всё слямзить.

Не с ходу дошло до старухи про вора-жулика, про кольца...

– Ой, матушки-батюшки. Он ить тот вона, холера, нарочно в теми подсунул мне мухарушку в ухо, а сам за добром! Ой, у меня же там полкуля пшеницы!

– Кому нужна твоя пшеница, где у те серёжки, эти тама...

– Беги, касатик, к мужикам хлеще. Тама в сундуке баночка железная под лопотёшкой: от родительницы-покойницы, царство ей небесное. Беги, золотце моё, огурчиками после угощу.

Заработал сарафанный телеграф. «Агафья говорит, в банке железной под лопотью!» – кричал из-за реки Васька.

Тайка припустила первой. Баб тоже с берега сдуло. Бестеневая чёткость дня не портила глаз, давала отдых. Женщины стали стесняться исподнего, заскакивали домой накинуть что-нибудь на себя. «В банке, скованной из железа?...» «В сейфе!» – выкрикнулась общая догадка. – В подполье?..»

3

Ганя Головёшкин смесил эту новость со вчерашним самогонным днём и третьеводнишним гостеванием у Ошлѣпчихи. Побожился: «У Агафьи в подполье цельный склад». Самогон и огурцы Агафьиного послала для него были самой той ценностью.

Головёшкин жил с тещей и двумя ребятишками. Жена Лиля по весне сбежала с каким-то пришлым. После ухода Лили теща, до того бытовавшая в поварне – маленькой избѣнке в ограде, перекочевала в избу. Теща работала уборщицей в конторе и на складе. Считалась блаженной: имела странности – то целую неделю без умолку говорила, то как бука молчала. Теперь теща ходила озабоченная: в конторе неделями никто не бывает. И склад редко открывается. Ганя сроду не пил и вдруг как сдурел. Говорили, он ещё при жене накачивался до того, что заваливался в поварне у тещи до утра.

Кто-то видел, как синей ранью из дома Головёшкиных задами огорода крался тот пришлый, что обивался вроде бы на лесосеке. Кто-то врал, что он егерь из соседнего района; кто-то – что геолог. Толком никто ничего не знал. Жена Головёшкина была ладна лицом, да тощенькая; теща – пышна, мягкоступа, но отлично отвратительна лицом своим прыщавым. Самолюбием Ганя не хворал и не был разборчив в людях: доверчив донельзя. К слову, теща ему вовсе и не была тещей. Ганя об этом и не догадывался, пока

Лиля однажды под клятву молчать не призналась, что сирота. Её родителей в тридцать седьмом году арестовали. Лиля перешла жить к соседке, которую обзывали «заполошной».

Ганя парень был застенчивый, но обладал недурной внешностью. Отслужив в армии, он поступил на работу в лесхоз и возил дрова в степной совхоз. Однажды, переезжая брод, он увидел девушку, которая билом колотила на камне бельё. Спрыгнув с воза, он подошёл.

Девушка выпрямилась, испуганная, но храбрилась:

– Чего выкатил котячьи зенки?!

– Ты кто?

– А тебе которо дело? – Лиля была высокая и стройная, но черты её лица оставались ещё детские, можно сказать, на возрастном перекасте. А в глазах уже играл бесёнок.

– Как зовут-то тебя, красавица?

– Зовут Зовутка, величают Утка, – уже мягче сказала она.

Ганя выглядел лихо: из-под высокого картуза – пучок кудрей. В то время было не зазорно – парни делали шестимесячную завивку. Лиле он понравился с первого взгляда. А Ганя так к ней и присох. Повадился он ездить в совхоз и всякий раз отыскивал случай встретиться с сударушкой. Месяца через три перевѣз он Лилю с её «мамочкой» в Чипчигой.

Лиля была настолько застенчивой, что при мамочке стеснялась делить с мужем ложе. Даже когда теща облюбовала поварню, прибрала там и перекочевала, Лиля не сразу согласилась лечь вместе. Она четыре дня спала не раздевшись. В конце недели после приезда молодухи сосед Савка Сухарев спросил молодожёна, девку ли тот привёл в дом. Ганя замялся и не совсем уверенно: «Но а кого же ещё?»

Савка тут же наушничал жене:

– Молодуха-то не целая.

И грязная сплетня расплылась по деревне.

Нельзя сказать, что молодая повалила бы своей красотой города, но шуму бы среди ценителей наделала, любой царевне в подмётки бы годилась. Для деревенского глаза она была Лиля, да и Лиля – долгая, голубоглазая, волосы светлые, тогда как у большинства – тёмные. На вкус деревенского мужика баба должна быть ладной из себя, пышной – живот подушкой: что-бы кости не гремели.

После смерти матери Ганя целых два года жил один. «Заполошная» теща, несмотря на все

её чудачества, оказалась гоношистой и запущенный дом быстро привела в порядок.

Народились погодки, «мужик» и «девка». Ганя с Лилей пять лет не знали горя, пока не появился тот пришлый.

За горами через непролазную тайгу и скалы – напрямик километрах в пяти – объявились геологи. Разведку вели небольшой группой. Начальник этой группы Никита Антонович однажды появился в Чипчигое, и председатель сельсовета – тогда ещё сельсовет был – определил его на постой к Ошлѣпчихе. Никита хозяйку купил буквально за две плитки чая, которого днём с огнём было не сыскать. Ошлѣпчиха полюбила этого обходительного весёлого и политичного парня. А кто он, толком и не знала.

– Я, Агафья Даниловна, просто весёлый человек, искатель приключений. Пошёл посмотреть, где тут упал Тунгусский метеорит.

– Теорит како-т ишшут, – потом рассказывала Ошлѣпчиха бабам, – с нѣбы, гыт, прямо шлѣпнулся.

– Врѣт, бичует да, поди, приглядывает добрый кедровник.

...И вот к Агафье за молоком заглянула Лиля. На ней было тонкое ситцевое платье, прикрывавшее исподнюю юбку, и дешѣвенький свадебный подарок Настасьи Сухаревой – манейка (голубые бусы), которые ей личили. Ошлѣпчиха, выхваляясь тем, что у неё на постое такой культурный квартирант, ошалела от гостеприимства; усадила Лилю пить чай со свежими калачами. А гость, разглядев слабость характера женщины, чтобы испытать её уступчивость, достал спирт, и они с Ошлѣпчихой уговорили Лилю отхлебнуть, а потом и повторить. Лиля то и дело порывалась уйти: дети ждут. А собеседник всё – посиди да посиди. И Лиля уступала. Засиделась.

Провожая Лилю, Никита в сенях взял её руку, погладил и выдохнул: «Завтра мы ждѣм»... Неведомые – горячая, а следом за ней и холодная – волны прошли по телу женщины, и она стала лёгкой, парящей. В душе зашевелилось странное любопытство.

Назавтра Лиля пришла не за молоком – за бединушкой своей. День и вечер только и думала о том, что с ней произошло. Сердце было неспокойно. Лиля хваталась то за одно, то за другое – ничто не ладилось. Её тянуло рискнуть вновь и вновь окунуться в те чувства, которые она испытала, отдаляясь от дома Агафьи Даниловны. Наконец решила за молоком отправить

Гаврилу. Тот ушёл и пропал. Он встретил хорошего слушателя, который всё выспрашивал, удивлялся, хвалил и поощрял образ мыслей рассказчика. А дома ребятишки молока просят. Своя корова пала, купили тѣлочку, а от яловицы молока год ждать. Хорошо было – брали у Груши. Теперь и у Груши бурѣнка между молоками ходит. Вот и договорились с Ошлѣпчихой – хотя и далековато: парное стынет. Гаврила ушёл на закате, а уже сумерки. Пошла сама. Не входя в дом, Лиля крикнула: «Ганя, ребятишки молока ждут!»

– Сиди, Васильич, приглашу сам, да на посошок ещё...

Ганя ещё не увлѣкся спиртным – по праздникам где. А тут хороший человек приглашает, ребятишки обождут: молоко вкусней будет.

Никита вышел во двор:

– Побудьте с нами пять минут, уважаемая Лиля.

– Ребятишкам молока надо. У Лариски жар, голова горячая.

– Лариса – дочь? Красивое имя. А вы знаете, Лариса – по-гречески чайка.

– Ловко. Дак у неё крупозно воспаленье... жар у неё, – всё менее уверенно говорила Лиля. – И неудобно... в деревне чѣ скажут... в эко время – праздник. Тут другой принцип...

– Эти принципы легко утопить в тарелке. Вы не свободны от мнений других и зажаты. А вам нужно стать свободной, тогда вы будете ещё красивее, Лиля. У вас нет друзей, есть только соседи, а ведь у каждого свои дела и до вас нет дела никому. У всех свои секреты, которых вы не узнаете никогда. А вы боитесь иметь свой маленький секрет. Это рабская психология.

– Знаю: умрѣшь – всё одно в глазетовый гроб не положат. Но ведь жить-то здесь... Как в глаза смотреть...

– А вы не так проста, как кажется, Лиля. – Он запустил в неё любовным взглядом, что игрушечной плѣткой. – Я буду вашим другом.

– К чему в доме две гармонии, когда один гармонист!

– Ха-ха! Остроумно. А если гармошка и аккордеон?.. Ну, идѣмте, – он посмотрел в её несогласные глаза. – Хорошо, отнесите молоко и приходите.

– Не приду, – сплеховала она.

– Да?

Он приблизился к ней – она два шага назад, прижалась к заплоту, испугалась:

– Вы чего?

Его взгляд похолодел:

– Пойдёмте, выпьем и... с мужем – домой.

От него пахло «лицевым» мылом... Вечер был синий, а луна жёлтая. Глаза Никиты – отблеск луны. Холодный заплот колот спину. Ветер кувыркался по бурьяну – изгородь ему нипочём – и оголял Лилины ноги чуть не до коленок, а ведь это такой позор – перед чужим-то.

Никита легко оттянул её от заплота:

– Идёмте же!

Он тоже тушевался, но был решительным.

– Ещё браве – зачем? – упрямылась она, но воля её была сломлена.

Почувствовав его руку на спине, увернулась, как от щекотки, но свою ладонку из его кулака не выдернула. Никто в жизни её не обнимал, даже мужу она не позволяла этого. Всё «такое» для неё было позорным, как внушила ей её запошная мама, сама в жизни не испытывавшая мужского прикосновения.

– Завтра в шесть часов вечера у Криуна. Лиля, надо нам поговорить.

– Ну да уж, куда там! – испугалась она. – Ещё браве выдумали... Чё попало...

За столом она сидела смущённая. Ганя был болтливым, он понял, что гость его жену оценил по достоинству. Не чью-нибудь, а его – Гаврилы Васильевича Головёшкина. Они все вместе спели «Катюшу». Агафьин высокий голос свободно вибрировал, а Лилин, несколько оглушённый, выходил мягко и очень задушевно. Пела она отвернувшись, не глядя ни на кого. Никита украдкой любовался её профилем, и в нём зарождалась надежда. Ганя пел громче всех.

Никита дал банку какао со сгущённым молоком: подарок для детей, Лиля отказалась, а Ганя взял.

...Часов в доме не было. Лиле и в голову не приходило, что ей будет интересно, «сколько теперь часов». Весь день она твердила: «Не пойду, не пойду, не пойду».

К вечеру ей захотелось знать, когда он будет её ждать и, естественно, не дожждётся.

Она, накинув на плечи белый платочек, пошла к Настасье Сухаревой – у той на стенке ходики. У Лили четыре класса – в циферблате она разбиралась. Когда глянула на ходики, в душе поселился сверчок сомнений: долгая стрелка на семи, короткая на четырёх, а может быть, у этих большая показывает часы?!.

– Садись, дева, чай запарю, – предложила Настасья.

– Да я недолго...

В деревне не принято спрашивать, зачем зашёл гость. Бывало, просто так, попить чайку, покалякать.

– Ты чё так воззрилась на часы?

– Нет, интересно – вот ходют и ходют, ходют и ходют. Спать не дают?

– Привычка. Без них скучно. Сломались – не хватает чего-то. Савка карасином промыл – пошли. Ходют.

Она подтянула гирию, которой «пособляла робить» оловянная ложка.

– Ну, я пошла. К нам в гости, Настасья.

– Эй, а пошто приходила? – решила-таки спросить Сухариха.

– Да так... так я...

Лиля долго томилась, пытаясь представить, сколько прошло времени. Вот бы узнать, зачем зовёт. Любое решение для неё было мучительным. Может быть, всё же сходить? Взять ведро и... Несколько раз пыталась рискнуть, но с зубовым скрежетом сдерживалась. Солнце не ждало – укатывалось на запад, порыжел восток, поднялась ветродурь, зашумела за огородом сухая колкая карагана. Лиля стояла, держась за жердь заплота, ветер затруднял её дыхание. И вот, когда поняла, что время уже ушло: был так был, не был так не был, она взяла ведро – ведь тяга пойти туда удесят�ерилась. Днём или ночью Лиля должна пойти туда. Так иногда тянет человека на место, где ему было слишком хорошо или слишком худо. Это та тяга, которая берёт за шиворот и ведёт на место преступления преступника; та, которая зовёт на священную землю, на могилу любимого человека или знаменитости какой.

На берегу Лилю охватило сиротское чувство, в мгновение ока мир стал скучным, угасающим. Чувство, когда в доме чуточку дней гостят дорогие люди, а потом уезжают – стены становятся шире, неудобнее, тишина нестерпимей и какой-то тоскливый гнёт наваливается на душу. «Ушёл? А может быть, и не приходил...»

Но Лиля ошибалась. Она так потерялась во времени, что и не знает, сколько прошло. Как во сне, она стояла, держа в руке полное ведро воды: сколько он шёл до неё? Приблизился, постоял, обнял. Ослабла её рука, упало ведро на кочку, разлилось.

– Зачем вы? – обессиленно спросила она. – Уйдите. – В его объятиях она была невесомой. – Не обижайте нас, Бога ради, Никита Антоныч, пожалейте всех. Чего сделаете – утоплюсь.

– Лиля, ты так мне нравишься... Я никого ещё так не любил.

– Уйди, сатана! – сказала она на вдохе, оттолкнула его и пошла странной походкой: правая нога, волочась, ступала влево, а левая вправо.

Никита догнал, взял за плечи:

– Ты не понимаешь и твоё окружение тебя не понимает – ты красавица, Лиля, ты добрая.... Пойми, я не хочу тебе зла. Всё будет так, как ты решишь. Но ты должна выслушать меня... Мы утром уходим надолго...

– Куда?! – выдала себя женщина.

– Недалеко, но сам приходиться не смогу, навевываться будет мой товарищ. Я ему уже указал место, где он будет прятать письма для тебя. – Никита обнял Лилю.

– Что вы, не надо! – испугалась она, ожидая поцелуя.

– Письма же. Пойдём, покажу.

Его переход на «ты» Лиле приятно польстил. Шагнув в сторону, он сунул руку под огромный валун, вытащил из-под него камень, а затем извлёк и пакет:

– Это для твоих детишек, ну и... тебе.

Она убрала руки за спину, и он втолкнул пакет под передник. Зачерпнул ведро воды, донёс до кустов, где начинался забор головёшкинского огорода, и скрылся.

Лиля вылила воду и с пустым ведром вернулась домой. У крыльца притулилась к косяку, положила руку на грудь, унять сердце. И лишь когда услышала за поварней, в сухаревской ограде, Ларискин голос, очнулась и поняла – из глаз каплют слёзы. Быстро утёрлась подолом и вступила в избу.

– С чего ты зачумлённая? – встретила её мамочка и, не ожидая ответа, вышла.

Лиля развязала у передника пояс – пакет шлёпнулся под ноги. «Гостинец ребятишкам».

Она стала освобождать от газеты и тряпки его содержимое. И остолбенела: в свёртке была большая пачка двадцатипяток. Ей и присниться не могло, что столько денег можно видеть разом. Сложное чувство охватило Лилю: она разочаровалась оттого, что гостинец несъедобный – не обрадуешь ребятишек; потом ею овладела страшная радость – богачка; растерянность – а что на них купишь и как скажешь, где взяла?..

Лиля небрежно завернула деньги обратно, сунула под постель и села на них. Она искала глазами подходящее место для тайника и не нашла. Посидела без мыслей. Потом, почти

не осознавая, перепрятала свёрток в курятник под печку. Нет места надёжнее. Куры летом жили в сарае.

...Лиле не спалось – думалось, мечталось. Какой он, Никита? Без возраста, без времени, как бы без прошлого и вместе с тем вечный. До неё он был всегда, но она этого не знала, как не знает ещё многого. То ли он загнал её в ловище – глубокую яму, то ли вынимает из какого омута? А какая она с ним была?.. Ему-то кажется, она славная... Дура-дурой, неловкой, неуклюжей. Ей неизвестно, что влюблённые с каждым разом становятся всё неопытней. А почему он её не поцеловал?.. Моргает?.. Лицо её ожарилось: Лиля вспомнила разговор в доме Агафьи. Никита спросил, что она делает на своей работе, а потом сказал: «Вы малопродуктивны». На что Лиля ответила: «Я что, корова?» Что он имел в виду – «малопродуктивна»? Лишь первые петухи взяли все её заботы и пустили по туману забытья. Вдруг сердце заколотилось, сна как не бывало. Лиля поняла: деньги приносят не радость – беспокойство. А маленько подумав, решила, что с ними как-то надёжней. Всегда надо ждать день чернее теперешних. Да и не худо бы иметь целые, нелатанные трусы. Есть бабы, которые теперь лифчики носят...

75

Через самую долгую в жизни неделю Лиля получила весточку. Коленями упираясь в холодный камень, она медленно читала письмо, улыбалась, растирая по щекам слёзы. Женщина позабыла, кто есть: жена и мать, витала в каких-то непонятных состояниях. Никита письмом уверял, что такая её жизнь – не жизнь; клялся, что полюбил её навсегда, что он увезёт её с детишками к своей матери за Урал.

Лиля знала, что у неё хранится ещё со школы деревянная ручка с железным перодержателем «Киров-Кутшо» и перо «Рондо», которым она когда-то любила писать с нажимом, и буквы получались где надо – толсто, где надо – тонкописанные, фигурные, каллиграфические. Хватилась, а чернил нет. Карандаш в доме был, а бумаги... Стыд сказать. У Ошлётчихи она выпросила завёртку от чая. И, стесняясь своего почерка, вывела: «Любезный Никита Антонович, во первых строках моего письма я не знаю, чево вам писать...» Испугалась: а вдруг её застанут за письмом. Чего сказать? Лиля ушла в стайку, села на стульчик, с которого корову доят, подложила под бумагу перевернутый подойник и долго, слюнявя карандаш, продолжала послание

Никите: «Живу хорошо, но пошто вы мне сунули ваши деньги, я в их не нуждаюсь. И что полюбил меня на вове – я не верю. Беру молоко у Агафьи, от неё вам привет и низкий поклон. Она стосковалась по вам». Но слова про Агафью старательно зачеркнула, ибо это было неправдой. «Живём хорошо, все здоровы-живы. На этом своё письмо заканчиваю. Здоровья вам, удачи – ваша знакомка Лиля». Опустила письмо под камень – особый «почтовый ящик» – и облегчённая вернулась к семье.

Ганя уже был дома. Он удивлённо уставился на нее.

Лиля покраснела:

– Ты чё?..

– Погляди вон на себя в зыркело.

Лиля взяла с подоконника осколок зеркала, со страхом рассматривала свои губы и язык, перепачканные карандашом. Благо Ганя вышел из избы и не докучал ей расспросами.

...Головёшкин увлёкся выпивкой, жена стала его от себя отодвигать. От неё запахло «лицевым» мылом и земляничным кремом. Осунулась, глаза провалились, покраснели. От ребятшек иногда несло конфетками, хотя их в лавке и в помине не было.

– Егорша, – сидя за починкой своего ичига, спросил отец, – а пошто от тебя эдак браво несёт? Конфетками будто бы...

Мальчишка испуганно зыркнул на мать, но промолчал.

– Он чё, хуже других, хуже Сухаревых? – занялась внутренней дрожью Лиля. – Угостили добры люди. Мы ить на араку надти можем, а на подушечку ребятишкам...

Не могла же она открыться мужу, что карамель прислал «подкаменной почтой» добрый человек. Она встала, молча, взяла парнишку за руку и увела.

– Молодец, Гоша, ни к чему знать папке, кто угостил нас конфетками.

– А кто, мама?

– И ты?.. Чё попало... Лишь бы сладкие были. Добры люди попотчевали. Ещё раз прошу, никому не говорите. Ларку придерживай от хвастовства.

Вернувшись с Ларкой и Егоркой от Сухаревых, Лиля постелила мужу на кровать, а сама легла с детьми на полу.

– Ты чё, Лиля? – садясь на табуретку, спросил Ганя.

– Плохая я здоровьем, чего-то с нутром неладно.

– Ложись сюда, в постелю, а мне с ребятами сподручной.

Лиля промолчала. Ганя вышел на крылечко, покурить. За думами припозднился и пошёл ночевать в поварню. Устроился на мучной ларь, в котором давно не было муки – а всякий инвентарь.

На следующий день Ганя пришёл пьяный, сел на край кровати с намерением объясниться с женой.

Она его оттолкнула:

– Будет тебе, Гаврила, где пил, туда и вали.

С того разу Ганя стал постоянно ночевать в поварне... Опустился, обрюзг.

Пошли сентябрьские дожди, похолодало, сельяне вынуждены были ходить в тёплом. И как раз в лавку забросили новые телогрейки. Мамочка, промолив Лилину ватку и суша на очаге, сожгла. Теперь осталась одна на двоих. Момент воспользоваться Лиле деньгами, что подарил Никита. Но не тут-то было.

Мамочка, увидев двадцатипятитку, испугалась:

– Де ты, дева, взяла, своровала, что ли?!

– А мне дал займы этот, который у Ошлѣпчихи стоял.

– За что? Ты что с ём, это самое?..

– Не-ет!

– Кто те поверит – «нет». Спрячь, дура, не показывай. Ой-ой-ой! Поглубже затарань куда-то, поглубже.

Мамочка походила по избе, погромела впустую ухватами и уже мирно:

– Одной-то мало на телогрейку.

– У меня ишшо есть, – тяжело глядя в одну точку, призналась Лиля.

Мамочка грузно опустилась на кутную лавку и через паузу, с отчаянной досадой почесав голову, как о чём-то трагическом, осторожно спросила:

– Дак ты что... ему это самое?.. Ну?..

– Нет, мамочка, как тебе не стыдно!

– Стыдно?!!

И тут у мамочки случился новый приступ горливости. А в таких случаях того, кому она говорила, словно бы и не существовало. Ибо она не слышала ни возражений, ни согласий.

– Стыдно. Агашеньки – стыдно. Забыли бога еретицы и лезут на чёртово веретено. Как обабились, так и подавай ей затычку. Да в кого это они, бабы экие, в кого, еретицы охаянны? Для того ли вас бог разрубил, чтоб денно и ночью... бес-

стыдницы, блудницы. Жрать неча, а им подавай хошь кривой, да не свой. Конец свету грядет из-за вас, блудницы...

Речь была получасовой, и она впервые подействовала на Лилию так сильно, что та скатала деньгу и чуть было не съела.

Лилия, нарядившись в мамочкину латаную-перелатаную фофадью, с ведром на локтевом сгибе, в котором стоял узелок с провизией, повязанная синим платочком, вышла на улицу. Она чуть не столкнулась с избачихой Фрузой Гирфановой.

– Ли-и-иля! Ловко, что мы с тобой встретились. В читальне сѣдни будет разговор с райкомовским этим, как его... Но важный мужик. Придти надо обязательно. Ладно? Придѣшь?

– Опосля работы забегу. С мальцами можно?

– Постоят там. Место найдѣтся.

Лилия пришла первая. С ней была Лариска. Райкомовцу – по всему было видно – слушательница понравилась. Он поправил малиновый в мелкую палочку галстук, стряхнул с рукава серого, в рябчик, пиджака какую-то соринку, достойно кашлянул и громко обратился к пришедшей:

– А почему без мужа пришли? Или потеряли его по дороге?

– Потеряла, а где, забыла. Вот дочку зато прихватила. А что, в мужиках недостача?

Райкомовец подошёл, сел рядом. Но разговаривать им не дали, повалил народ. Навалило не так уж много, но почти все стулья заняли. Интерес всё-таки большой – новый человек, райкомовец. Может быть, что-то свежее скажет насчёт перекочёвки.

– Товарищи! – обратилась Фруза к собравшимся. – Должна сказать вам, для Чипчигоя большая честь, что к нам приехал представитель райкома. Ему даю слово. Пожалуйста, Фѣдор Савватеич.

Райкомовец начал с высокопарной фразы:

– Товарищи чипчигойцы! За последнее время в нашей области наблюдается моральное бездонье. Близорукие не замечают, что на пороге прогресс нравов. Некоторые решились – что хочу, то и ворочу. Своим умом стали жить, не понимая, что умишко-то у них примерзло к наситенному месту. Они маскируют личные выгоды под прикрытием морально-возвышенных целей. Им дороже свой огород под носом, чем общественно выгодный шаг вперѣд к светлому будущему. Но так думает только эпиметей.

– Кто он такой? С чем его едят, этого эпиметей? – задал вопрос дед Куимов.

– Эпиметей – человек, крепкий задним умом. Таких райкомовцы увидели в вашем селе. Потом, когда все заживут, как следует быть, эти люди будут нить, зря мы не послушали умных людей.

Лариска захныкала: ей стало неинтересно слушать райкомовца. Тогда Лилия увела её домой. Возвратилась в избу-читальню.

В это время Фруза очень интересно говорила собравшимся в кои веки вместе селянам:

– Живые существа получили все способности, чтобы закрепиться на земле. Лишь человек остался голый в холоде. Вот тогда-то Прометей и украл у богов огонь. Отдал его людям. Исправил ошибку своего брата. Ну, его оплошность.

– А кто у его брат был?

– Бог и был его братом, который угодил всем, кроме людей. Прометей и не дал погибнуть людям. Дал огонь и способность к мастерству.

– Об этом я читывал. Читывал, что Зевс на землю послал сына. Командировку выписал ему, чтобы тот, значит, ввѣл среди людей стыд и правду. Вражду бы сменил доверием. А вот райком нам не доверяет, хочет, как лучше. Но кому лучше: им или нам?

17

...На колхозном огороде, в километре от села, на лесной поляне Лилия и ещё восемь женщин копали картошку. У каждой была своя полоска-делянка – отмеренная учётицей дневная норма. Далеко вперѣд ушла сестра Проньки Худова Анна. Она торопилась домой: её девятилетний парнишка проткнул гвоздѣм ногу и теперь мучился – нога отекала. Медичка успокаивает: пройдѣт, а материнское сердце не на месте. Безотцовец, он один, кто удерживает Анну на этой земле. Через три полоски следом за ней шла Лилия, её подгонял ветер-тягун, что бежал из межгорья.

Из лесу вышел человек в жѣлтом дождевике, с рюкзаком за плечами. Подошёл к Анне со спины. Лилия видела, как Анна, вздрогнув от неожиданности, резко распрямилась, попятилась. Незнакомец что-то говорил, а Анна, широко расставив в стороны руки в голицах, отрицательно качала головой. Потом, опустив голову, долго слушала, наконец в знак согласия кивнула пришельцу и показала в сторону Лилии.

Лилия растерялась и на приветствие не ответила. От его слов её бросило в жар:

– Вас сегодня на закате у северной росстани возле порожков будет ждать Никита...

На закате? На каком закате – солнце-то за целый день и не выглянуло. Незнакомец, спросив, кто из них старший, отошёл к отставшим женщинам выпросить свежей картошки на жарёху. Лиля засуетилась и принялась быстрее доканчивать свой уповод: бежать домой, спрятаться. Но к концу работы Лилей одолела тяга.

...Никита шёл ей навстречу. Лиля отстранилась и не дала ему поцеловать себя: «Ещё чё... выдумали... грязная я». Она шла за Никитой, твердя одно и то же: «Мне некогда, дома ждут». И всё равно шла. В руке она несла мешочек с картошкой и пустой бутылкой, из которой выпила молоко. Мотала головой: «Ой, какая я поганая баба!» Свернули с дороги, шли вдоль речки. За шумливыми порожками с речкой разлучились. На полянке горел костёр. Она не сразу заметила около сосны-буреломины шалаш.

Никита, указав на него, робко улыбнулся:

– Прошу к нашему шалашу.

– Вы одни здесь?

Она опустила мешочек с картошкой на землю и огляделась.

– Не одни, а один... был. Теперь мы вдвоём. Сейчас уху сварим. Ты молодец, Лилёшечка, картошку прихватила. Вот тебе мыло, полотенце. Пока я уху варганю – ты помыться хотела, а перед порожками теплее – улово... Я только что искупался.

В воде Лиле показалось тепло. Но когда вышла на сушу, её проняла дрожуха. Никита предложил ей спальный мешок. Туда же и принёс горячую уху, дал ей свою шерстяную рубашку. Силой заставил выпить из термосной крышки спирт, запить водой. Дал съесть шоколадку. Потом... потом она долго не пускала его в спальный мешок. А когда пустила, думала, он начнёт нахальничать, но она ошиблась. Лиля потерялась во времени. Всё случилось естественно, хоть для неё неожиданно. Она испытала то, что никогда не испытывала с мужем.

Слышались только вечер да ветер и полудикие звуки природы, что неслись из шалаша...

4

Ганя, как говорится, все жданные съел. Последние огородницы с час назад как вернулись домой. Он шёл с выгона, где паслась стреноженная его Воронуха. Хоть возить теперь стало нечего, но Ганя по сию пору считался возчиком, и лошадь числилась за ним. Он повстречал тяжело идущую с пустым ведром жену Семёна Миха-

лёва Саню. Саня сама не заметила, что тряпка, висевшая на краю ведра, упала на дно, потому что и показалось Гане, что ведро пустое, а это плохая примета.

– Здорово, Саня, а моя ещё на огороде?

– Пошто же. – Вид у женщины был усталый, у неё болела поясница. – Твоя давненько, почти с Анной Худовой, ушла.

Заглянул Головёшкин и к Худовым. Анна не знала, когда исчезла Лиля. Ганя обошёл дома всех огородниц. Лишь одна девочка сказала, вроде бы Лиля, когда свернула за лоб опушки, больше не появлялась на дороге. Должно быть, пошла к речке. Головёшкин заглянул домой, насыпал из кисы в кيسет табаку, подпоясался ремнём-чересседельником, заткнул за пояс топор и мешок, снял со спицы уздечку. Выйдя за ворота, вспомнил – спички забыл. Не входя в ограду, он крикнул: «Мать, спичек принеси!»

С растрёпанными волосами вышла тёща со щепотью спичек, а видя за поясом зятя топор, встревожилась:

– Ты, Гаврила, это чего удумал топором-то?!

Ганя не ответил, а пошёл в другую сторону от Воронка. Опомнившись, остановился, но махнул рукой и не воротился. Побрёл вдоль речки вниз по течению. Дойдя до мостика, решил на всякий случай заглянуть к Варваре Ошлёпкиной:

– Варуха, ты случаем не встречала мою?

– Откудова же, Ганя? Проходи, гостём будешь. Чай запарю: чугунок горячая.

– Да чаевать-то не время. Запропастилась заблуда-то.

– Стосковался? Куда денется... Я вот без мужика сколь лет, да ничё. Отдохни у меня до утречка, а там... утро мудренее.

– К чему дуракам мудрость? У те есть «летучая мышь». Дай мне, опосля занесу.

– Ну дам я те, дам. Не жалко не токо «летучу мышь»... Если захошь. Загляни вечером на чай. Толокно, кулага есть. Блинцы могу доспеть. А «мышь» вон в казёнке под потолком висит. И карасину через край. К утру и забегай... Али завтра вечерочком.

Варвара говорила ровным «толстым» голосом, чтобы не разбудить своих «найдён».

– Где Агафья-то? – огляделся Ганя.

– В казёнке она валяется, там ей ловчее. Топчан, самовар, от мамы остался. Тока темно, а ей самый раз. Нам не помеха.

Приближаясь к мостику, Ганя вдруг заметил, кто-то идёт навстречу: по походке – молодой

парень. Тот, увидев Головёшкина, метнулся в сторону, исчез в кустарнике. Немного отойдя, Ганя остановился. Парень быстро, балансируя, одолел мостик и скрылся за домом Варвары. Тогда до Гани дошло, почему баба не ставит дверь на замок.

По шараге Гавриил шёл с зажжённой «мышью», держа её за деревянную ручку. В чреве фонаря булькал керосин. Этот звук, запах керосина и копоты раздражали его. Слизкие холодные ветки били по лицу, по-змеиному скользили по шее. Встревоженные комары жалили его, и он злился всё больше и больше. К этому присоединялась тревога за жену и чувство зависти к тому парню – ночному гостю Варвары. Свет от фонаря выхватывал летящие лохмотья кустов и травы, а всё остальное топил в кромешной тьме. Он несколько раз гасил фонарь и шёл наобум, оступаясь. Прислушивался, не будет ли какого зова. Иногда тихо звал: «Лиля», будто она где-то рядом.

Ноги его гудели, не столь от долгого пути, сколь от бездорожья, неровного рельефа приречья. Развёл костёр. Метляки, ночные бабочки, так и сыпались в огонь. «Дуры, куда вы прёте? Погреться захотели? Ну грейтесь: рано или поздно всё одно подышать». Каких-то с обожжёнными крыльями ветер относил в сторону, и они живые шевелились. Ганя палочкой забрасывал их в огонь: меньше мук. Он подумал о смерти и о старости. Представил себя беспомощным стариком, никому не нужной обузой. И решил: человеку жить, пока он нужен кому-то. Представил Лилю утонувшей, вскопился: нет!!! Она нужна. Нужна ему – жена, нужна детям – мать. И вообще деревне Лилия нужна. Какой деревне?.. Ведь скоро... И Ганя представил деревню обезлюдевшей. А ведь когда-то было село: церковь стояла. А ниже дома Варвары Ошлёткиной красовалась водянуха-мельница. Жили казаки. Он помнит их фуражки с жёлтыми околышами. Всё в тридцатых порушили. Русло забутовали камнями. Всё вокруг теперь заросло бурьяном и тальником. Неужели ничего нет вечного на земле? Сколько Ганя помнит – всегда власти обещали счастливую жизнь. «А разве власти виноваты, что им всё время мешают?.. – раздумывал Ганя. – Чего им там, капиталистам, не живётся за кордоном-то спокойно?.. Такие же, поди, и дома имеют, землю-матушку... И леса и речки, слава богу, есть... А вот завидуют, как мы тут вольно живём, всё пытаются завоевать нас да в рабство пу-

стить, в нищету. Не понимают дурни, что жить всем охота. Готовят новую войну». Он срубил ветку ивы и стал хлестать по костру, тушить пламя, чтобы эти глупые метляки не падали в огонь. В конце концов помочился на уголья и решил вернуться домой: пришла уж, небось...

Разошлись они на самую малость, Ганя, не обнаружив жены, решил пойти в обратную сторону. Он ещё подходил к дому Ошлёткихи – Лилия уже вошла в избу. Мамочка чиркнула спичкой, внимательно посмотрела на неё, но ничего не сказала.

За околицей деревни Ганя сел на валун: куда идти, в какую сторону, зачем?.. Всё одно что искать иголку в стоге сена, да не в стоге, а в валках. Вздремнув, очнулся. Стал ворошить свои мысли. Нашёл поведение жены последнее время престранным. Вспомнил, как однажды увидел её, что-то опускавшую в кладовку под сгнившую и заменённую на новую половицу. Спросил, что она делает. Она стала оправдываться, дескать, ищет ещё одно куриное гнездо из старых, прохудившихся. Вынула совсем изветшавшее гнездо для несушек, плетённое из соломы. Тут же положила на место половицу и сдвинула на неё мешок с охвостьями – куриным кормом.

19

Ганя вернулся домой перед восходом солнца. Увидев спящую жену, испытал двойственное чувство – радости и злости. Ринулся в кладовую, вынул из-под пола вконец обветшалое куриное гнездо, в котором был узел из старого матраца. Развязал, обессиленно сел посреди сеней. В узле оказались белая кофта, чёрная юбка, красивый головной платок и ботинки с высокой шнуровкой. Всё почти новое. Головёшкин вскопился, заметался, распахнул двери сеней. Выхватил из-за пояса топор и начал яростно рубить всю эту обновку. Он понял, что Лилия всё это привезла из района, когда ездила в больницу.

Распахнулась дверь. На пороге в залатанной нижней холщёвой рубахе появилась Лилия. За её спиной, держась обеими руками за рот, стояла сгорбленная тётца.

5

Прошла осень, зима, а ранней весной Лилия ушла с Никитой в его лагерь. Стала поварить у геологов. В это время экспедиция увеличилась в два раза.

После ухода Лилии из дому в поварне тётца устроила курятник. Ганя ночевал то на чердаке, то на сеновале.

...Сейчас Ганя, тронутый с места всеобщим энтузиазмом, полудремал на охалке лебеды, ко-со поглядывал на крапиву и потирал всё ещё горящую щеку. В «глиняной» его башке бродила мысль: воруга – ясно как день – не выкажется. Очко у него – пять-шесть, играет. Вот кабы в садок и через чушечью дверь в сенной подвал! Да есть ли там в погреб лаз?.. В Гане, как в большинстве других, мутузили друг дружку две «принципиальные личности»: одна не хотела двигаться, другая, как всегда, алкала самогона. Последняя была неоднократным чемпионом, и уступчивый Ганя спасовал перед её авторитетом. Ею покорённый, он предпринял атаку. Разобрав чащу забора, перевалил костисто-жилистое тело через нижнюю жердину, залёг меж грядок тююна, низкорослого табака, сделал передых. В его распалённом воображении маняще колыхалась двухведёрная бутылка мутноватой обалдевающей жидкости. Его острый кадык работал в такт с руками. Ганя опохмелится, а там видно будет, может быть, ещё геройский поступок совершит. В редких проблесках трезвости он всегда видел красивые глаза потерянной жены. Вот Лиля бы узнала, если бы он поймал бандюгу! А может быть, это тот паразит, что увёл её, – Никита? Ганино сердце билось чаще некуда. О лазе за бурьяном только Ганя и знал. Он как-то за бидон бражки у Ошлётчихи пол в сенях укреплял – заменял прогнившую половицу. С северной стороны под сенями есть лаз, там летом обитают куры да иногда собака прячется от стужи или зноя. Теперь собака была у Варвары.

Команду, с которой лежал на позиции – Проньку Худова и Семёна Михалёва, Ганя обвёл вокруг пальца: мол, сползает на разведку в сенник. Бандюга, возможно, на чердаке. Пропуская разведчика, доски свободно разнялись. «Ловко придумал старухин парень (в тюряге где-то сидит), подвесив их на старых ременных гужах». Новоиспечённый детектив угодил в пахучее чушечье гайно из травяной сечки. Пронзительно завизжала свинья и, выскочив во двор, долго встревоженно хрюкала.

Пронька прокомментировал:

– Пробился Ганя к избе, на чушку наступил – эх развеселил.

– Бухой Ганя, не заметил, – прохрипел Семён сквозь ангину.

– Слышь, Сёха, не помнишь, когда я вчера убрался от тебя, а? Где-то плечом саданулся, руку отсушил, эвон тут побаливает.

– Мать сказала, ты зачем-то к Мухаметке рвался. Может, он тя поприветствовал?.. Стой! – замер Михалёв – Не слышал? Навроде Ганя крикнул... Нет, показалось.

...Ганя лысеющей макушкой надавил на западню, но не тут-то было. Туго – другой раз и не допёр бы – он вспомнил, что на краю западни у старухи стоит кадь с кислой водой: чтобы не рассыхалась. Он сам же позавчера и натаскал из огородной бочки на свою голову – за что его Агафья и похмелила. Собрав остатки воли, Ганя своим горбом так надавил на западню, что хрустнул какой-то хрящик, затряслись поджилки: «Накатила ведьма кадушку». Прилёг поднакопить сил. С трудом в его голову втиснулась мысль, что давито он на западню не с того краю. Внутри зашевелился червячок: стакашек бы задвинуть. Нахлынула волна энтузиазма, он сориентировался: не далее сажени в подполье стоит огромная бутылка браги с плавающими поверх ягодками. Стимулируя силы, потекли слюни. Действительно, кадушка от его отчаянного усилия покачнулась, лениво грохнуло ведро, заплескалась вода.

– Ну, Гаврила Васильич, поднатужимся, – уважительно сказал он сам себе.

Звонко заскандалило ведро. Кадь опрокинулась, сверху хлынула вода. Ганя отскочил в сторону, но обо что-то так дроболызнулся головой, что из глаз посыпались искры. Глухо замычал, не замечая, что на спину и в штаны льётся вода.

В «штабе», услышав звон и грохот, решили: «Двое их там... или трое. Меж собой цапаются из-за золота».

Нащупав выступ, Ганя прыгнул в сени и... почувствовал, как кто-то острым огрел его по башке. Обмякнув, он свалился на пол, наполовину вися в подполье. Рёв как из-под ножа услышали все. «Одного укокошили!» – решили в «штабе».

– Спёкса Ганя, ножом пырнули, – почти грустно сказали Сенька с Пронькой, – отважный мужик был: на такое рыскнуть...

С некоторым опозданием трагедия утраты кольнула Семёна:

– Ах, гад! Такого мужика угробил, – он рванул на себе рубаху, – дай ружьё!

– Не буянь, охолонись! – Пронька решительно удержал сотоварища за ногу. – Второй жертвы хошь?

Он поразминал свой лоб.

– Мухи за жизнь не обидел, ребяташкам игрушки стругал, свистки делал, – помолчав, Семён сообщил: – Грунька сказывала, Ганя эвон

20

как-то до солнышка сидел на бревне за сухаревской баней, выл... А ведь мастерюга был – я те дам! Моей бабке Хавронье, знаешь, чё учудил? Орехокол срукотворил. Бабка орешки любила, а зубов нет. Она Нюську подрядила. Та ей лузгала. Но да каво: раскусит, две-три сама проглотит, а четвёрту – бабке. Та злится. Зашёл Ганя утром, а к вечеру принёс такую штуку. Две палки брусочками, с одного конца ручки, с другого вроде шарнирного соединения из ремня. Там две ямки. Положишь два орешка – хрусть, и пожалуйста – скорлупки в сторону, ядрышки в рот... Последнее время попивал. Бабу увели... Попива-а-ал. Но с кем не бывает. Мы вон вчера с тобой уделались чище лошади.

– Вчера Ганя просил на чекушку у меня, а я сказал, нету. Зря не дал мужику, – прослезился Пронька, а может быть, для виду помигал. Достал из кармана редьку, хрумкнул. – На, Сеня, погрызи, легче станет.

Пожевали, помолчали. Сменив положение, Худов почувствовал неловкость: камень, что ли? Он приподнялся и... у обоих глаза с ложку, словно перед ними привидение: из-под Проньки вынырнула чекушка. И покатила под уклон, сгибая травинки, которые следом выпрямлялись.

– Ты чё, Проха, родил её?
– Чёрт её знает, откуда она взялась! Токо что подумал: похмелиться бы, а она... Чудеса!

– А мы редьку сожрали!
– У меня, кажется, ещё есть. Вспомнил! Это вчера я одну на похмелку утаил, в сенях в этот башлык сунул. Как я её не почуял? И не разбилась. Ну, помянем Гаврилу, чтоб ему дольше жи... Чего я говорю?! Земля ему пухом.

– Пухом. Царство ему небесное, – сирым вибрирующим голосом проговорил Семён.

Выпил. Его и без того широкие челюсти в нижней части разошлись, как у ящерицы, брови комлями поднялись на лоб.

Проньку тронул его скорбный вид. Чтобы отвлечься от горестных дум, он проговорил:

– Твой тёзка Гузеев бухтел, где-то вывели хрен слаще редьки.

– Это ботало ещё не то выведет, токо слушай его.

...Когда Тайка Таратайкина примчала с донесением о месте расположения драгоценностей, Шастин задумался, а все ждали его решения. Семён Гузеев, как индюк, резкими движениями головы оглядывал братию, готовя какое-то важное сообщение.

– Что делать будем, мужики? – спросил Андруха, глядя на Пылёва. – Как ты, Иван?

– У меня предлог, – опередил Савка, – готовиться к бою!

И, не дожидаясь, пока Пылёв раскроет рот, Шастин приступил к действию:

– Фёдор, ты вправо, Савелий, влево шпарь. Скажите мужикам, дело серьёзное. Главное, не дать противнику сориентироваться. Пусть ждут команды.

– Без команды не стрелять, – добавил Пылёв. – Брать живём.

– Не посрашим чести деревни, мужики! – патетически произнёс Семён Гузеев.

– Говорят, кто нашёл клад, дают двадцать пять процентов, – прошепелявил Федька Сухарев.

– Ты сперва этот клад оборони, а потом и... Ну, шуруйте!

– Там они не иначе как с пулемётами да гранатами, – заключил Гузеев, когда скрылись нарочные.

– С миномётами да с бомбой, – сыронизировал Пылёв. Иван на фронте был станкачом-пулемётчиком станкового пулемета.

Где-то высоко в небе пророкотал самолёт. Каждый из вояк поискал его глазами. Ни с того ни с сего Гузеев натужно рассмеялся:

– Был в нашем партизанском отряде мужик-силан, но увальней того увальня. Посылает его командир, богатыря, наипаче мужика от сохи, в разведку: «Иди, Терентий, прощупай почву в деревне у немцев». – «Понял, товарищ командир». Сходил. «Ну, как?» – «Влажная, товарищ командир, земля, можно зачинать сеять».

Мужики всохотнули – громче всех Оська Таратайкин.

С углового поста вопрошали:

– Чего там?

– Чевоку чевокнули, да не тем лаптём, – ответил Оська, он храбрился, словно чего-то боялся.

– А пошто ржёте?

И не получили ответа.

– С тех пор и повелось, – продолжал Семён, – как в бой, так «пошли сеять». Мужик он вообще-то смекалистый, но несураз. Есть такие: если долго мерекает – в туды надумает, в жилу. А спрыты сприси... Мысли в его башке вроде стабунились, вот и которая к воротам поближе – та и выскакивает... дикая.

– Мутновато излагаешь, Семён Прокопыч, к чему? – ища в рассказе подвох, спросил Андруха.

– К чему: студёно, вот и разогреться... А то было, учили мы званья, когда погоны вменили в армии. Его спрашивают, сколь у капитана звёзд на погонах. Он тут же: «Восемь», ха-ха, говорит. Лысеть стал...

Было заметно, как Семён оттягивает какую-то надвигающуюся беду.

– Погоди, – перебил Семёна Иван Пылёв и обратился к вернувшемуся посыльному Савке Сухареву: – Ну, что там?

– Всё в полном.

– ...лысеть стал, – опять начал Гузеев.

Его перебили несколько раз со срочными делами.

Оська силой выпроводил Тайку домой, с нетерпением спросил:

– Ну, «лысеть стал»?

– ...стал лысеть наш Терентий, приходит в санчасть: «Дай что-нибудь для укрепления головы». Не волосьев, а головы. Едва поняли, дали: «Вот, будешь втирать в кожу каждый вечер» – «Понял. И что, эту кожу на голову надевать, что ли?» Ха-ха, такое быванье бывало.

6

А Ганя в это время подбирался к двери. Он понял, что никто его не бил, он сам торкнулся о железную кровать. Дверь была не на замочке. Шасьт заложку – и царь: теперь его пленники в западне. На стук не ответили. Постучал громче – мёртво. С улицы донёсся ультиматум: «Сдавайтесь! Даём три минуты на размышление, потом откроем огонь». Ганя, сообразив, что в избе никого, с великой осторожностью открыл поющую коваными петлицами дверь, занёс ногу за высокий порог – и грянули выстрелы. Ганя распластался на полу.

Как получилось: после возни и стука, насто-роживших всех, с северной стороны дунул ветер. На чердаке под стрехой качнулись, зашеле-стев, берёзовые веники. Пронька рванул берданку и шарахнул на звук. С другой стороны, не разобравшись, дали ответный залп, кто вверх, кто в крышу, а кто и в окно. Зазвенели стёкла, с подоконника полетела сковородка со шкварками и угодила Гане в горбушку.

Он не своим голосом заорал:

– Не бей, я свой! Расстрел получишь!!!

А поняв, в чём дело, мужик зло плюнул на разлетевшиеся шкварки. Потом об этом пожалел, собрал несколько шкварок, в раздумии пожевал. По-пластунски одолел расстояние до за-

падни, открыл и спрыгнул вниз. Раздался душе-раздирающий крик: он наступил на кошку.

На позиции решили:

– Дивновато их там набралось. Одного, ви-дать, зацепили.

Этот вывод, обойдя цепь по кругу, вернулся твёрдым убеждением: «Много их, вооружены до зубов». Тем более был уже раненый – Федька Сухарев. Он хотел перебраться к соседям, раз-ведать, что у них. А по-пластунски не умел и, пригнув голову к земле, пополз на карачках. Шальная – не прицельная же – картечина и жи-ганула его по ягодице. Федька боли не почуял – лишь мгновенный ожог, но, схватившись за это место и увидев кровь, он повернул к своим и, по-ка полз обратно, растерял всё своё сознание.

– Убили, шволочи! – прошепелявил он и рух-нул замертво.

– Ёлки-палки! Ранили Федюху! – Семён Ми-халёв растолкал Проньку Худова, который, как Наполеон перед сраженьем у Ватерлоо или Ку-тузов перед Бородинским, маленько прикорнул. Он все эти дождливые дни, как и многие, коротал за бутылкой; был с глубокого похмелья и мало что соображал.

– Федёха, Федёха! – тормозил Михалёв Су-харева за плечо. – Глянь, Проха, на кальсонах кровь. А он в оммороке. Чё делать? Кликни вон Груху Шастину.

– Грунь, Грунь! – Пронька протирал грязными кулаками глаза. Михалёв дернул шнурок на Федь-киной талии, хотел спустить с него кальсоны.

Раздался Грушин голос:

– Чё тут у вас?

– Штаны не шпушкой, – прошепелявил Федь-ка, не двигаясь. Он ожидал боли, от которой спа-су не будет. Но страшная боль почему-то не при-ходила.

– Он чё, на гвоздь напоролся? – оскорбила Груня «смертельно раненного» Фёдора Сухаре-ва. – Ах, пулей ранили!.. Умный боец обычно с перевязанной головой ходит. Хорошо, не до моз-гов. Перевязать надо. Вон, шумни Настасью, Про-копий, пусть полюбуется, как деверя разукрасили.

Федька не вытерпел издевательств, вскочил на колени:

– Идите все отсюда подале! – Поддернул кальсоны, завязал шнурок. – Што за народ! Че-ловека чуть не уштосовали, а они...

– Чё с ими цацкаться! – раздухарился Пронь-ка. – Зацепить трактором – и делу конец! – Его поташнивало.

– Ты что?! – испугался Семён. – Разрешение райкома есть?

– Связи же нет ни с кем, провода где-то оборвало. Власть вовремя убралась в район. Теперь и на железном коне не проедешь, хошь у него и два моста. Упустим – родина не простит. Что мы за люди – сами пустяка решить не можем. Беру на себя!

Он встал в полный рост и пошёл. Пошёл к себе домой.

Прокопий рванул рычаг, вставленный в маховик ЧТЗ. На удивление самому себе, трактор он запустил мигом. И дополнительный лигроин не понадобился. Вошёл в дом, достал из заначки чекушку, выбулькал водку в кружку, выпил на быка, провёл по лицу кулаком.

Испуганная мать робко предложила:

– Заел бы, Проня, я вот колоба пеку.

– Бой, мать, не ждёт, – пьяно сказал сын.

7

Трактор издавал страшный рёв, эхо отщёлкивалось от лесных опушек. Прокопий восседал на сиденье, как полководец на лихом коне. Не сбавляя скорости, так и прошёлся по палисаднику и врезался в угол. Дом пошатнулся, закачалась крыша, зашуршали под ней берёзовые венники. Вылетела рама, которая была уже без стёкол. Гусеницы забуксовали, и трактор чуть не заглох.

Прокопий прыгнул и крюк, которым в лесу бревна волочил, забросил в оконный проруб. Другой конец троса накинул на передний буксирный зацеп и дал задний ход.

Бойцы – уже ни один не лежал – истошно кричали:

– Обумись, Прокопий!

– Давай, Пронька!

– Вперёд, за Ошлётчиху!

Рассвет садился в седловину восточных сопок. Через полчаса всё было кончено. Наступила тишина, встало солнце. Прошла чертовски кошмарная ночь. От развалин шла терпкая, вонючая пыль. Встревоженный прах обещал беду. Все вдруг присмирели, осознавая, что случилось непоправимое. Отряхивали бесшабашные головы от наваждения, ища оправдание своим поступкам. Кто виноват?.. Не трактор же. Он стоял выше праха, в нём что-то шипело и потрескивало. Протрезвевший Пронька сидел на гусенице и протирал грязной тряпкой свои незапачканные руки. «Сеня, дай твой чинарик».

– Бабы, по домам! – распорядился Андрюха Шастин. – Вы здесь не были. А нам, мужики, если что, отвечать. Мы угробили людей. Не важно, что там преступники... Виноваты мы.

Походив вокруг развалин, он сказал:

– Иван, набирай половину мужиков, идите, чайюте по домам, а мы, кто останется, начнём аккуратно разбирать эту стихию.

...Дом разнесли и всё до бревнышка сложили отдельно, лишь не тронули пол. Даже зерно, рассыпанное из треснувшего мешка, смели в вёдра. Сундук пострадал мало: проломилась крышка да чуть его покосило. Жертв не было. Пылёв, подняв крышку, стал вытаскивать барахло – какие-то вконец обветшалые тряпки. Сохранились более-менее военная форма – гимнастёрка, галифе, фуражка – да всех поразившее белое платье с фатой, пожелтевшее от времени.

На дне сундука лежала круглая плоская коробка из-под монпансье. Пылёв, оглядев всех, с каким-то страхом стал снимать крышку. В коробке оказались два потускневших кольца, сделанных из медных монет, серёжки-дутики, несколько разрозненных пуговиц, согнутый пополам вязальный крючок, мешочек с какими-то семенами и манейка. Оська Таратайкин взял манейку, жилка лопнула, и стеклянные бусинки покатались с неё, заскакали по полу, стали затериваться в мусоре. Савка, увидев, как один «королёк» закатился под стол с обломанными ножками, отбросил столешницу и, не найдя бусинку, открыл подполье:

– Братцы, а там мертвец!

Мужики хлынули к подполью, притиснулись друг ко дружке, закрыли свет.

– Да это же Ганя Головёшкин! – выкрикнул Семён Михалёв. – Отпряньте, дайте свет, живой ли? Ганя?.. Ганя!

Все примолкли. Послышался здоровый храп. Ганя, отведя свою душеньку брагой, сладко почивал. Савка растолкал его.

Тот очухался – грязный, мокрый, продрал глаза и, стоя на коленях, воскликнул:

– Ёлки-палки – огурцы!!!

На земляной балке под полом поблёскивало несколько банок солёных огурцов. Кроме пьяного Гани, в доме никого не было. Никаких трупов. Окромя, может, мышей да тараканов.

8

Мужики всем миром всего за одни сутки заново отстроили мосток через Чипчигойку к дому Варвары Ошлёткиной. Два бревна – и вся не-

долга. На другой день, настропалённые Гузеевым, пошли к Агафье каяться в том, что её дом раскатали подчистую.

Делегация вошла в дом Варвары, а молодёжь – кто сидел на завалинке, кто на большом жернове, что лежал посреди ограды. Одним краем жернов ушёл в почву, в своё прошлое. Этот матёрый камень от старой водянухи говорил за то, что в этих местах люди живут давно.

– Сама Агафья виновата, – рассуждал Оська, – выскочила ошпаренная и на всю ивановскую базлает: «Ой, стрелят!» А как иначе подумать народу? Кричала бы, что у ней там таракан или какая другая букаха или буканчик. – Оська склонил голову набок. – Вон Гузей чё говорит: это новая порода тараканов появилась. Она питается ушной серой и в ухе потомков выводит. Додула, в ухе устраивать родильный дом. Там тепло, безопасно. Он в раковину, в эту... в улитку ввинтится, и попробуй чем его достань. Человек уснул – тараканчики оттуда и – шашть. Другой спит, не ожидает, а тараканиха к нему – новое потомство выводить. Эти дни Гузей советует на ночь всем затыкать ватой уши или марлевые повязки на ушах носить. Я вот дак и днём с ватой: бережёного бог бережёт. – Оська вынул из уха пучок ваты, показал и вновь затолкал. – В чём опасность: плодятся они быстро, как наш русский народ. Нам – война-развойна, тюрьма-расторьма, а мы живём – и ваших нет. Плодимся. Возьмите Варуху, – он показал пальцем на окно, – без мужа, захотела и – на тебе, двойня.

– А если мужику её дадут «увалительную» домой, чё он с ей доспеет? – спросил Саха Федотов.

– А чё доспевать-то? Она виновата, что ему охота в тюрьме посидеть? Ей, поди, тоже охота... в загонялки поиграть. А потом, как не дадут ему «увалительную» – одной ей коротать жизнь? А тут найдены, подрастут и... помощники по дому. И старуха вон смирилась, поняла, к чему чё, а как ерепенилась-то по первости. – Оська задумался. – А если из Ошлѣпчихи ночью поползут тараканята?.. Плодятся они быстро, вот ведь в чём опасность.

– Грушка божится, что Варуха усыпила там таракана. Сперва папиросу огнём в рот взяла и вдупала ей кубометр дыму. Не помогло. Она накапала эфиру в ухо. Она же в амбулатории одно время убирала и, как знала, припасла, – рассуждал Саха Федотов. – Таракан там и захрапел. Теперь Гузей посоветовал, чтобы у Агафьи ден-

но и ночью кто-то сиделом был, чтобы всю ночь свет горел. Хотят к Шастиным увести, а то Варухины найдены покою не дадут. Хошь и в казёнке живёт. Умён Семен.

– Умный у нас тятка, спасу нет, – подтвердил старший сын Гузеева, Афонька. – У нас журналов полно и сколько-то книжек. Тятка все их до дыр зачитал. Мы с мамой дак боимся его, младшие не понимают, спорят с ём, а мы – нет. Умный тятка. Любому любой рыцеп может написать.

– Какой рыцеп?

– Да какой хошь.

– Чего это?

– Во, балда! Это про болезни.

– На чём написать?

– Фу ты! Не на твоей же морде. На бумаге. На какой хошь. Единоба баушке Пинжихе на газете написал фимическим карандашом. Он у нас один, да и тот с Галькин нос.

– Чё, у вашей Гальки такой нос?

– Тятка так по-научному говорит. На газете написал вот такими буквищами... Вот с того жука. Даже маленько побольше, с жука гамновозного. «Для закрепления брюха». Та почту в сортир три дни возила.

...Семён Гузеев случайно вышел в деревенские мудрецы. Был тихий, забитый своей дородной женой Прасковьей, обложенный ею детишками: что ни год – ложка. Здоровье стало пошаливать. Свалился. В районной больнице провалялся месяца три: что-то с головой было неладно. Выписался – пошёл в складские сторожа.

Однажды при побелке конторы на крыльцо выбросили подшивку газет, а пацаны заволокли её на проломленную крышу конторского сортира. А Семён как-то поднял голову, увидел, прочёл интересную статью. И уволок эту подшивку под складское крылечко. Увлёкся чтением. Он ещё никогда не имел столько свободного времени. Гузеев обладал замечательной памятью. Стал заглядывать в крошечную колхозную библиотеку, которая находилась в складском амбаре, и книжки выдавала та же кладовщица Шура Таратайкина, Оськина и Тайкина мать. Как-то заболел у Семёна зуб. Рядом случись Мухаммед Шу-Рапша – он выскреб из своей трубки нагар, что назвал мыкыном, положил ему на зуб, и зуб перестал дуреть. Семён завёл себе трубочку и в тайне ото всех стал её покуривать – для добывания мыкына. На людях же курил самокрутку. Постепенно прослыл зубным лекарем. Как-то

в журнале вычитал рецепт из трав, посоветовал своей соседке, та возьми да и излечись от недуга. Гузеева зауважали. На склады зачастили люди, послушать умных речей – радио тогда в деревне не было. Кроме одной тарелки, что висела в сельсовете и подключалась по тем же проводам, что и телефон, – в определённые часы. Приходило несколько разных газет, но по одному экземпляру. Распоряжалась ими та же Шура Таратайкина и давала их в первую очередь Семёну, а уж потом председателям колхоза и сельсовета. А когда Гузей районного лектора положил на обе лопатки, то село уже не сомневалось в Семёновой учёности...

– Силён твой тятка, – согласился Оська с Афонькой, хоть и любил вставить слово поперёк. – Вскочили у меня бородавки на руках ещё до фзззу. Мать – мол, спроси у Гузея насчёт них. А Семён, может, сам допёр, может, где вычитал: в теле человека, как учёны доктора говорят, есть блуждающи клетки – то же мясо, только крохотными кусочками. Блуждают, как сироты бездомные, вот, как Миня Бусов, – он показал на Миню, сидевшего на деревянном ведре, – и где в теле какая беда – порез, болячка – эти клетки по крови – она же к мясу не привязана – и прут к этому месту, чтоб запрудить его: порез. А собирает их и направляет туда наша нервна система. У неё в любой точке есть этот... как же он сказал?.. А, полпред, вроде блата. Вот и волокутся эти клетки – и в том месте получается эта... военное слово... Ага – генерация.

– Регенерация, – поправляет Миня Бусов.

– Во-во, реге... эта самая... нерация. И тело нарастает. С бородавками то же самое. Но тут ложна штука получается. Здоровому телу нужен рост. И даден лимит на всяку штуку и на те блуждающи клетки. А они, паря, выпускаются в избытке. Всё, как в жизни. Вот выпускает фабрика сандалеты, а их не берут. План дали – выполни. Завал, а их не берут. Уценят – не берут. Они и копятя. И лежит эта куча годами. Все видят, а выбросить боятся: кто отвечать будет? Но вот приезжает Сергей Михалёв...

– Какой Михалёв? – спросил Миня.

– Ну этот, который смешит, – продолжает Оська, – снимает на «Фитиль». Бац! – до министра дошло, в совнархоз. Министр – бац по башке зама! Замы – бац! Бац! Бац! Бац!!! – по инстанциям. Выясняется, где-то на юге нет сандалет, их – туда... И ваших нет. Куча исчезла. Так и с бородавками. Сознательно ты вроде и против

бородавок, а подсознание твоё – сам министр, другим делом занят. За всем уследить ему – жила тонка. Во как рассуждает Гузей, умно. А колдуны хитрят: подглядели, сквозь несколько жизней надо обратить внимание на какую-то точку на теле, чтоб тебе мозги заквасить, и так, чтоб ты не знал. А чем нелепее это будет, тем живее ты от своих мыслей и откажешься – туда своё внимание и направишь. Обалдеешь и думать о своём не захочешь. А твоя вторая натура, понаучному – подсознание, и зачнёт кумекать, куда сандалиии засандалить, в какой район их сплавить. Глядишь, незаметно, а бородавок-то – тютю. Правильно кумекает Семён?.. Ещё бы: ведь бородавки-то мне Ошлѐпчиха свела. Так что, парни, Ошлѐпчиху надо спасать: а вдруг у кого опять бородавки!

– Появятся, как не появиться. Но и без бородавок она не помешает. А жить где теперь будет? С Варухой не уживѐтся.

– Пуцай живѐт у всех помаленьку. Всё равно деревню сносить будут – всех в район напрок переселят.

– Многие не хотят.

– Заставят. Цельные народы переселяют... А уж нашу-то деревню чего проще.

– А я думаю, раз всем миром растащили избу, – сказал Миня Бусов, – всем миром и собрать можно.

– Там полно трухлявых брёвен.

– Труху заменить просто. Вон у нас в ограде отец для сеней припас. С собой по болоту лесины не потащишь, – сказал Петька Сухарев. – У многих в оградах есть.

Парни только разговорились по-хорошему, из сеней мужики вывели Ошлѐпчиху. Её придерживали Семён Гузеев и Андрюха Шастин. За ними следовали Иван Пылѐв, Савелий Сухарев и ещё пять селян. Агафья, видя в огороде молодѐжь, приняла скорбный вид и маленькими шажками, неся свою голову с тараканом, гордо и молча проследовала сквозь молодѐжный строй.

– Папа, – догнал отца Петька Сухарев, – мы вон с братвой чего подумали, избу-то бабки Агафьи можно сызнова сделать.

– А что, дело говорит твой мужик, Савелий, – поддержал молодѐжь один старик, у которого всё время прыгало правое плечо.

– У меня дома пять хороших слег и три бревна, пожертвую ради святого дела, – сказал другой.

Савелий промолчал, не посмел нарушить скорбную тишину процессии. Потому что вино-

25

вница и жертва событий приближалась к праху своего жилища, разрушенному по недоразумению. Оказавшись в улице и увидев горизонт, что обычно был скрыт её домом, Ошлѐпчиха пала на колени и жутко заголосила:

– Ой да разорили мое сирое гнёздышко!!!

И сказал тогда Семѐн Гузеев:

– Не рыдай, мать. У нас у всех есть совесть, – патетически от имени, хоть и без поручения селян, заявил он. – Надеюсь, что все, как в таких случаях бывает, проголосуют «за». И наша совесть поставит тебе дом. С сего же дня на общественных началах мы зачнѐм варганить тебе жилище.

– Зачнѐм, – выдохнули мужики.

– Зачнѐм, – поддержали парни. – Поставим такой – закачаешься. Поста-а-авим!

9

Все от мала до велика, даже мелюзга сопливая, вышли на строительство Ошлѐпчихино «гнёздышка». Прорабом единогласно был избран Андрюха Шастин. В горнице его дома лежала страдальца Агафья Ошлѐпчиха с притихшим, а может быть, удравшим тараканом. Во всяком случае Агафья ещё утверждала, что «каво-то она там ошшушшат». На другое утро она – то ли на самом деле было, то ли во сне увидела – утверждала, что таракан постукал лапой по барабанной перепонке. Получилось, как в пустую бочку мутовкой кто заторкал. Бабка пошевелилась, и квартирант её уха примолк. Умный, видно, попал таракан. Гузей воспрянул духом – вредитель на месте.

Мужики до обеда гуртом потолкались на стройплощадке и решили работать в пять смен. А кто свободен – волен пойти в колхоз или дома чего делать. Молодёжь нашла занятие – убрать в огороде Агафьи урожай. Огурцы, лук, табак-тютюн.

Прискакал нарочный, велел разыскать ключ от избы, где раньше помещался сельсовет. Всем собраться там. Представители райкома партии будут проводить беседу о перспективе укрупнения колхозов. Поскольку шло строительство, всем идти было невозможно, обязали пойти Гузеева. Потом собрали всех в приказном порядке. То никто идти не хотел, то пришли все. Места в избе не хватило. Вынесли стол на крылечко.

С первой минуты начались дебаты: селяне высказались против переезда. Райкомовец, крепкий мужик с бородавками на лице, возму-

щался. Покачиванием головы его поддерживала женщина, секретарь.

– Да вы что, мужики, спятили? Игнорировать решение партии и правительства! Ведь о вас заботятся, чтобы к врачу вам не ездить, чтобы хлеб был всегда, а не один раз в месяц. Чтобы у вас было электричество, радио. Чтобы вы могли в клуб ходить, смотреть кино, концерты. Чтобы вы не ждали, когда привезут керосин. И детишки чтоб не только четыре класса при родителях жили, а до семи классов, до девяти. Всё там, на этом новом месте, будет. Баня белая планируется.

– А пошто на этом нашем месте нельзя всё построить?

– А потому, что ваше захолустье у чёрта на куличках. К вам артисты вон, агитбригада, отказалась ехать. А там планируется парикмахерская, мастерская – обувь шить-чинить. Много чего культурного будет. Надо поднимать целину. Сначала с жильём трудно будет, всем не хватит. Ударники будут заселяться в первую очередь. Молодёжь сразу на курсы трактористов, комбайнёров, шоферов. Машины для перекочёвки сначала пришлют за теми, кто способен трудиться. Дорога подсохнет, и ждите, готовьтесь к переезду. А кто откажется, пусть пеняет на себя. Пешком побежит умолять.

– У кого-то в светлой головушке тараканы завелись, вот и решили женить ежа с крысой, – сказал Пронька Худов так, чтобы начальство не совсем расслышало.

Головѐшкин слушал одним ухом. Когда лектор упомянул о бане, у него зачесалось меж лопаток. Перед глазами замаячили чистые полкѐ. Будучи в армии, он дважды мылся в белой бане, а потом зашёл в пивной ларѐк. Пиво тогда ему показалось невкусным.

«Детишкам скоро в школу, – подумал он, – надо книжки, тетрадки покупать, и... всё без Лили. А вдруг она вернѐтся, а деревни не будет? А почему бы здесь не открыть магазин вместо малюсенькой лавчонки? Школу бы построить. А у речки баню бы поставить большую. Попарился – и бултых в воду или в снег. Пекарню бы поставить. Пекарня и баня могут быть чёрными, а вот фельдшерский пункт нужен. Ведь кого-то из селян можно бы послать учиться...»

...Жулику опостылело лаять на каждого ша-туна, тем более никто его не пугался, он ушѐл к свинарнику, положил свою мохнатую морду на лапы и исподлобья наблюдал за всем творя-

щимся. Груша самовар за самоваром едва поспевала ставить на стол. Кто приносил свой харч – сдавали в общий котёл. Тут же паслись детишки. Гузеев на стройку не выходил: селяне поручили ему быть около Агафьи Даниловны консультантом. Мужики выманили его в сени и попотчевали кружечкой красенького. И вот Семён под Ошлѣпчихино таракана подвѣл «научную основу».

– А ведь чёрт его знает, в чём тут подоплёка. Может быть, это историческое событие, мужики, – хотя в избе было полно баб, Гузей обратился к мужикам, – по теории учёного, Дарьин его фамилия, в Англии живёт, всякая тварь ищет, где ей лучше, и пристраивается – мигрирует, по-научному. У людей то же самое. Ну а если нет выхода – она приживается, где прижмёт, и по-томству это наказывает. Внутри её сидят гены...

– Кто сидит?

– Гены, не имя Гена, а... Может, эти вот самые гены и тянут её внуков-правнуков в родные края, где она, паря, прижилась. А тяга эта вот по-научному называется.... – Семён задумался, вынул истрѣпанный листок бумаги с всякими пометками. Пошарил по нему глазами, но не нашёл того, что хотел. Он сосредоточенно посмотрел на Ваську Пылѣва: – Нос-то утри да пуговку на штанах застегни, вояка.

Васька обиделся, встал и ушёл.

– Ностальгия это называется! – крикнул Семён вдогон мальчишке. – Ностальгия.... Да вы слушайте, к чему я. Недавно прочитал одного крупного и известного учёного, фамилию его забыл. До чего учёные ушлый народец – допѣрли: вывели в лаборотории самую что ни на есть малюсенькую животную – только под микроскопом рассмотришь. Дак она, падла, знаешь, чѣ жрѣт? Фиг догадаешься! Самую что ни на есть любую железяку. Железопитающееся. И живёт скотина при температуре аж сто пятьдесят процентов выше нуля... Это, градусов выше нуля. А теперь ну-ка не дай учёному вовремя получку... Или уйди жена к другому. Ты кумекаешь башкой, что он сделает?... Ключ от лаборотории у него... – Гузеев походил по избе, ковшом зачерпнул из ведра ключевой воды, громко поглотил её и, подняв к потолку перст, изрёк: – Ключ от ушного таракана у нас, мужики. Потеряем его – накличем бедствие!

– Я те такую штуку расскажу, – посмел вступить в беседу со своим тѣзкой Михалѣв, – ты, во-первых, не поверишь, во-вторых, упадёшь.

Вот Проха не даст соврать. Двоюродный зять моей тѣтки в городе изобрѣл средство против тараканов.

– Как изобрѣл? – почти испугался Гузеев.

– А вот так вот – взял и изобрѣл. Порох там, селитра, сахар, конечно. Всё смешал, яду добавил. Таракан как того заглотит – бах! – на две половинки рассыпается. Но хочет изобрести, чтобы помельче: чтобы мусору не было. Бах – и пыль!

– Пыль... Это ты тут распылился.

На тощем гузеевском лице сгармонились продольные морщины.

– Ну вот, пусть мне колхоз командировку напишет в область к брату, а двоюродный зять моей тѣтки от него через две дороги живёт – на всех привезу.

Учёный Семён, потерпев поражение от неучёного, в упор спросил:

– Ты про колорадских жуков слышал каво-нибудь?

– А каво про его слышать-то?

– Во!!! – ладонью показал учёный на неучёного и оглядел присутственников. – «Каво, каво», паря, никаво! Ежели бы ты про то слышал, плакал бы денно и ночью коровьими слезами. – Он остановил взгляд на сыне. – Ну-ка, Афонага, спой про жука.

Афонька встал и на мотив песни «Ой, цветѣт калина» запел:

Ой, цветѣт картошка и зелёный лук.

Полюбил картошку колорадский жук.

Он живѣт, не знает ничего о том,

Что Трофим Лысенко думает о нём.

Афонька сел и свои раскосые глаза повёл на Михалѣва.

– Слышал? – продолжал Афонькин отец. – Сам величайший учёный, академик, президент Трофим Денисович задумался, а ты... Эта скотина гаже Нюшкиной чушки. Нюшки Осокиной чушка залезла в твой огородчик – её угости дрыном как следует – она похрюкает да, паря, дня на два твой огородчик и позабудет. А те как налетели на твою картошку – так, считай, ботвы твоей за день с микроскопом не сыщешь – всю дотла сожрут, падлы, и балаболки не оставят. Хошь с дробовиком за ём охотиться, хошь с дрыном, хошь Таську свою выпускай на них. Она с одного краю будет их давить, а с другого оне будут распложаться. До того краю дойдѣт – они уж с этого, глядишь, при-

способились, – оратор резкими индюшиными движениями головы осмотрел всех сидельщиков, на лицах которых повис нешуточный испуг, – верно, ежели Таськина родня соберётся – оне победят... может быть, – сострил Гузеев.

– А если парочку всё одно проморгают? – спросил кто-то.

– А парочка за час тебе штук сто налюбезничает. А сожрали твой огородчик – лапками тебе помашут – да в мой или вот в его.

– В этом деле добро вон Миньке Бусову. У него ни кола, ни двора, ни родни... И кормить некого. Самого государство наптит.

– Вот скоро в большия колхозы скопимся, всё соединим и заживём, можно, и без картошки, когда хлеба полно будет.

– А чё, мужики, надо попробовать.

– Одна баба попробовала – семерых родила.

– Так что ушной таракан на сегодняшний день – самая крупная проблема. – Семён глубокомысленно повыпучивал свои желваки, напряжинил ноздри, как некогда это делал милиционер во время повальных арестов. Семён почему-то и поныне его потрушивал...

Смекалистый Гузеев знал, чем можно «взять» народ: народ должен жить в постоянном страхе – тогда он будет хор-р-роший народ. Наш народ привык всего бояться и опасаться. И если его долго не пугают, так он боится того, что бояться нечего.

Некогда Гузеев завидовал милиционерам, их форме, тяжёлой кобуре, внушительной портупее, этот ремень через плечо – живое устрашение... И мечтал стать милиционером. Ему нравилось, как менялись лица земляков, когда появлялся в селе страж порядка. Все становились вежливыми, тихенькими, матерные слова старались удерживать за зубами. При них – милиционерах – и местное начальство робело.

Правда, в тридцать седьмом Семёнов дом беда чудом обошла. Арестовали лишь двух его дядь. Да и то один из них перед самой войной воротился и погиб славно – на войне.

Семён Гузеев, широко расставив ноги, встал посреди избы:

– Да, ушной таракан это и политика, это и престиж международного класса, – патетически закончил он и заложил правую руку за лацкан пиджака.

– Видали, как волокёт мужик! – похвалил оратора один посидельщик. – Как он супротивника меж ушей коленом в зад!..

– Кто много читает, смотрит много кин – тот много умеет говорить, а делать ни хрена не умеет, – обиделся Семён другой.

– Ты это про тёзку? – спросили Михалёва. – Да он языком рубит чище, чем иной топором. Топором из нас любой, а ты попробуй языком так наловчись. Есть которые делают, а которые за их думают. Голова ценнее рук. Головастые и в почёте живут, и ладнее нас. При галстуках ходют.

– Ой уж... Да у Андрюхи Шастина тоже есть галстук, – сказал один парень. – Аграфена, ну-ка покажи Андрюхин галстук.

– Груша, уважь, – стали просить селяне.

Груша подняла занавеску, под которой висела одежда, вынула из кармана тужурки длинную, как кишка, яркую, цветастую тряпичную полоску, растянула в руках:

– Это мой братан привёз гостинец Андрею из области. Андрюха хотел в ём в район съездить, да не могли узел завязать, да и опасно – задавиться можно.

– Сеня, – обратился к Гузееву Оська Тарайкин, – расскажи-ка про науку, про которую мы спорили с уполномоченным.

– Да уж многим сказывал про эту науку, как мы с ём спорили, – ждал учёный Семён, чтоб лучше попросили, и не без охотцы повёл рассказ: – Он мне говорит, ну, как ты без этой науки, как её, заразу... ты, гыт, без изучения этой науки не докажешь, что вода может бить на поверхность. Артезианский, значит, фонтан, он имел сказать. «Дурак, – я говорю ему. – Да ежели я один таз поставлю на шкапу, а от него трубку, – грю, – на стол, а в таз воды надую. Как же не попрёт вода? Схрумкал, – грю я ему, – эту мою мыслью? Портянкой закусил?» – «Схрумкал», – ерепенится он. «А ты, – гыт, – не подумал, что вода в другие слоя по щелям утекёт?» Я – ему: «Гузея хотел набагулить? Ты, – грю, – сперва налей в стакан воды да камнейев туды набросай. И погляди, будут ли оне у тя плавать. Вода, – я грю, – всегда хочет сверх камнейев быть». Правильно я кумекаю, мужики?

– Куда с добром ты кумекаешь, Семён!

– Ты ко всяку делу с мозгой подходи – вот те и вся наука, – выпучил свои белые глаза учёный Семён. – Допирай сам, а не допёр – в книжки глянть: в книжках всё есть.

Запнувшись о порог, в избу вскочил Васька Пылёв.

– Об какую ногу запнулся? – спросил Гузеев.

– Об твою, – съязвил Михалёв.

– Об левую, – радостно сообщил Васька. – А тама склали пять обвязок. Четыре новых бревна вставили. Хвально получается. Мужики велели: через две папиросы пусть идёт смена дяди Сени.

– Верно! – заглянул один в окно. – Ты гляди, паря, Пылёв со своими последнюю обвязку докладывают, полвенца осталось. Вот бы в колхозе всё так: мы бы уж озолотились.

– Ха-ха! Размечтался колхозник кулаком стаять!

– Зачем кулаком, – богачом. Вот целину поднимут по всей стране, хлеба будет вдосталь. Настроим электростанций. Электричеством, говорят, и пахать и сеять можно. А ты ходи по полю, щупай. Никита сказал – будем жить при коммунизме. А в ём что твоя душенька пожелает: хошь мотоцикл – на, легковушку – на.

– Анекдот, мужики.... Приезжает это Никита Сергеич к бурятам. Выходит доярка на трибуну: «Беру обязательство в будущем году надоить по восемьсот литров от каждой бурёнки». Сергеич спрашивает: «А по тыще литров могла бы надоить?» Бурятка подумала: «Однахо можно». «Ну а по тысяче сто двадцать?» Та опять подумала: «Однахо можно». Тогда Никита ладошкой по столу: «А по тысяче сто сорок можно?» Доярка задумалась и говорит: «Однахо синее будет». Ха-ха!

– Чего «синее»? – не понял Оська.

– Разбавь молоко водой, какое оно будет? – сказала Груша, прохохотавшись.

И Оська Таратайкин закатился в запоздалом смехе.

– Ну, мужики, наш уповод, попёрли. Мы своих пять венцов ещё живей пылёвцев уложим.

Пришла Тайка Таратайкина, сообщила, что у Головёшкиных в поварне доваривается олифа, ещё сутки прокипит – и готова.

– Какая олифа? – удивилась Агафья.

– Да тут тебе хотят наличники покрасить, рамы. У Настасьи Сухаревой в казёнке стояло постное масло, прогоркло, литров пять. Вот Ганя теща взялась тебе олифу сварить.

– Три дни варится уже это масло. Ганя говорит, вот когда пены не будет, олифа будет, как свежий мёд, тогда и снять можно.

– Ты бы видела, Агафья Даниловна, какие наличники делают мужики – резные. Хоромы тебе отгрохают.

– Стеклины в твой дом, бабка, дядя Проня Худов вытащил из сельсоветских рам: всё одно

пустует, – радостно сообщила Тайка и поморщилась. – А сельсовет теперь небравый.

...Агафья Даниловна Ошлёткина в сопровождении мужчин подходила к своему поновевшему дому. На первый взгляд, он показался чужим, на прежний непохожий. На старом фундаменте помещались и сени, теперь сени были пристроены сбоку, а весь фундамент занимала изба – теперь пятистенка. Две просторные комнаты. Перед сенями на новеньких столбах красовался навес с вензелями-кренделями. Трёхступенчатое жёлтое крылечко – только на руках ходить. Солнце чуток задержалось на коньке – на большой лошадиной голове, что придавало дому необыкновенно торжественный вид, поднимало его к небу. Кто бы мог подумать, что Ганя – Гаврила Васильевич Головёшкин способен на такое!.. Это вам не детская игрушка-лошадка, и не свисток, и не ходули. За три дня с помощью топора, да ножика, да стамески срукотворить эко чудо!

– Мужики советовали положить сруб на вётошь, всё одно в этом доме скоро никому не жить, – сказал Иван Пылёв, – другие не согласились, и я тоже. И положили... И поставили мы твою избу, Агафья Даниловна, на хорошем мху. Тёплая будет изба. Уедешь отцеда, дак путные люди – охотники, лесники за милую душу будут обитать в твоих стенах. А тут, говорят, геологи чего-то нашли за сопкой. Напрок с нашей солнepчной стороны зачнут шурфы бить. Глядишь, кому и пригодится. Домок-от – картинка.

– Пустое говоришь, Ванюша, не отпевай загодя. Мне пригодится. Я и тогда не собиралась уезжать, а вдруг да моего Егоршу отпустят из тюрьмы. Нет – я тут.... Где Тая? Давай сюда кошку, запустим в дом.

Взяв кошку, Агафья ступила на жёлтое крылечко.

– А и вправду, мужики, – сказал Савелий Сухарев, – на кой он сдался нам, матёрый колхоз?..

– Мне тоже неохота ехать отцеда.

– Кому охота...

Дом Агафьи Даниловны Ошлёткиной и впрямь украсил деревню: выглядел благодатью. Треугольник крыши, удлинённый коньком, чем-то напоминал храм божий. Улица теперь не сваливалась к яру, а как бы оканчивалась новым, непривычным домом. Развернувшись, дом теперь стоял на месте.

Кто не любит грустных концов, на этом может и закончить своё чтение.

Ганя Головёшкин уже три часа остужал олифу. Ему не терпелось покрыть конёк на жёлобе Ошлѣпчихино дома, который он вдохновенно создал, саморучно.

Погода присмирела. Закат. За речкой, за лесной полосой чувствуется – долина дышит духовой. Ганя никогда не задумывался, какая она, его деревня. По отдельности, кажется, знал всё, но в общем он её не видел. Не знал, какая она с высоты птичьего полёта: как её видят птицы, какой она кажется лётчикам. И тут он замер. Замер от какого-то непонятого не то восторга, не то удивления. Он уже четыре дня не брал в рот спиртного. Азартная работа была слаще и перебивала аппетит к выпивке...

Издали медовой каплей виднелся конёк. Он словно нёсся куда-то на фоне оранжевых облаков. «Не в коммунизм ли?» – торжественно подумал ваятель. Дом был молодой, и даже на расстоянии пахло смолой, свежей стружкой и тёплым мохом. Он изменил, обнарядил облик деревни. И все люди за эти четыре дня Гане показались родными – у них с ним было общее непринудительное дело, которое связывалось душевным интересом.

Ганя по простоте души своей понимал, что он не может быть патриотом, из-за слабости характера он способен подвести людей в каком-то важном деле.

Тут он заметил, что избы похожи на своих хозяев. Вот дом Сухаревых-забияк – поднял нос-крышу, труба набекрень. А вот воротины стоят, а ворот нету. Как не понять, что дальше хибара Проньки Худова. А вот куркулистый, толстобрёвный – все завалено поленницами дров, ограда по самую крышу, двор покрыт, а на нём вороха сена. Это Мухамедкино подворье – подворье толстого чёрного кавказца со странной фамилией Шу-Рапша. В войну его откуда-то переселили, а он и здесь окуркулился. А вот глазницы двух развалюх подряд: ушедшие бог весть куда Сафроновы и Утюжниковы.

А какой же дом его – Гаврилы Васильевича Головёшкина?.. Пусто без Лили, без матери его детей. У Гани что-то перевернулось внутри, ударилось вверх и словно когтями зацепилось между лёгкими и сердцем.

Куда же уезжать, зачем? А вдруг кто захочет вернуться сюда? Ведь возвращаются туда, откуда ушли. На новое-то место получается не воз-

вращение. А вдруг да Лиля вернётся? А она обязательно вернётся. Не может быть, чтоб не вернулась. Ведь сирота. Ей всегда хотелось иметь свой дом.

А потом – в нём всегда сидело понятие: левбединая верность. Одна особь жить без другой не может. Как же может жить Лиля без детей, без него? Он уверен, она тоскует по их общему очагу. И уже отмотала вёрсты дум. Ему-то легче: рядом дети. На днях сын Егорка ему сказал: «Папа, я помню, как аист меня принёс». К чему это – жалеет отца, отрекается от матери?

Гаврила обязательно отремонтирует свою крышу и сделает на ней конёк получше того, что смастерил Ошлѣпчихе.

Ошлѣпчиха уже всем сказала свое приглашение на новоселье. Почему она захотела сделать его до обеда?.. Наверно, потому, что к вечеру люди могут разойтись-разъехаться: погода наладилась. И Гане непременно захотелось покрыть конёк к «завтрему»; завтра его будут хвалить все. Завтра не грех выпить. Да, чего доброго, ночью пойдёт дождь.

Закат ещё не отгорел. Восточные сопки были такими тёплыми и уютными, что просто захотелось туда полететь птицей. А над сопкой, за которой, возможно, сейчас Лиля тоскует по дому, по ребятишкам, по нему, Гане, ведь промеж ними худого ничего не было, раскинулось необъятное красное крыло. Это непостижимо велико-лепное надвижение чего-то и вечного, чего-то и навсегда ускользающего. А над всем этим – божественное умиротворение.

Распирая душу, из Ганиных уст полилась песня:

*Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой.*

*Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.*

Ганя сидел верхом на жёлобе, покрывая олифой гриву своего коня-конька. Слишком знатно получилось! Он не испытывал подобного чувства, когда укреплял конёк и когда покрывал его хиной. Теперь же захватило дух, словно он никогда не был на такой высоте. Дело другое – зарод сена. Он любил вершить зароды, обожал запах скошенных трав, но не мог и пред-ставить, что так страдно пахнет и новым домом, и олифой, и лёгкой усталостью.

И вот он сидит, как на троне, на своём творении, на которое будут заглядываться люди: а кто же сотворил подобное чудо?.. Ему не очень хотелось знать, что заглядываться-то будут недолго: скоро всего этого не станет. Не будет не только конька, но и этой улицы. Зарастёт она бурьяном и потеряется. Потеряется его улица, на которой он родился и вырос. Улица, на которой жил счастливо, хоть и с лишениями, с Лилей. С ребяташками.

Ни Лиля, ни Ганя ещё не знали, что у Никиты есть семья в Троицке, близ Оренбурга, – жена и двое детей.

Закат догасал.

Ганя не понял, раньше ли он об этом подумал или когда пришла его собачонка Роска; села перед домом и, глядя на хозяина, завывала. Гаврила осерчал на неё: испортить такое полётное настроение!

– Роска! – крикнул он вниз. – Ну-ка утулись, ведьма! Ты чё удумала? Марш домой! Пшла! Говорю, иди к ребяташкам!

Роска замолчала, стыдливо отвернула голову, а через минуту вновь заскулила. И тут у Гани родилось недоброе предчувствие: он два дня не видел ребяташек. Странно... Мамачка сказала вчера, что Егорша с Лариской играют с сухаревскими Санькой и Ольгой. Ганю охватило чувство, переходящее в панику: ведь утром-то он не видел даже знаков детей: ни одежки, ни...

Ганя по углу дома мигом спустился на землю и побежал домой. Дома никого не было. Он – к Сухаревым:

– Моих не видели?

– Да каво ты, Ганя, шебутишься! Ещё третьеводни Лилька собрала в лес их, – огорошила мужика Настасья. – Верхом увезла их Лилька. И Роску увела, та сёдни вернулась. Увезла, Ганя, увезла.

– Увезла?.. Увела... – Ганя повернулся и, выходя в сени, сказал: – Хорошо... Вот и хорошо.

11

Утром Ошлѣпчиха ждала гостей – жарила, парила, ей помогала Груша Шастина. Новоселье до обеда знаменует богатую жизнь в доме. Вечером заготовленные дрова прогорели, и Агафья выскочила во двор, набрать новых. На куче палок перед окнами лежал чей-то старый сапог. Она отбросила его за ограду. И тут увидела, что в лебеде лежит Ганина тявкуша Роска. Собачонка встала, подошла к сапогу, понюхала его, села рядом.

Печка прогорела быстро, Агафья выскочила по новой. Лишь набросила на руку несколько полешек – увидела: около её дома уже людно. Все стояли и смотрели на небо. Она привыкла, что её старый дом был гораздо ниже и крыша торцами была восток-запад, а теперь один торец был к югу – в улицу. И поэтому она не поняла, что люди смотрят на конёк.

Агафья Даниловна задрала голову и не испугалась, а удивилась: высоко над ней висели чьи-то ноги, одна босая, другая в сапоге. Выронив дрова, женщина деревянно отошла в сторону.

Над коньком её дома на фоне облаков, слегка раскинув руки, медленно летел Ганя Головѣшкин.

